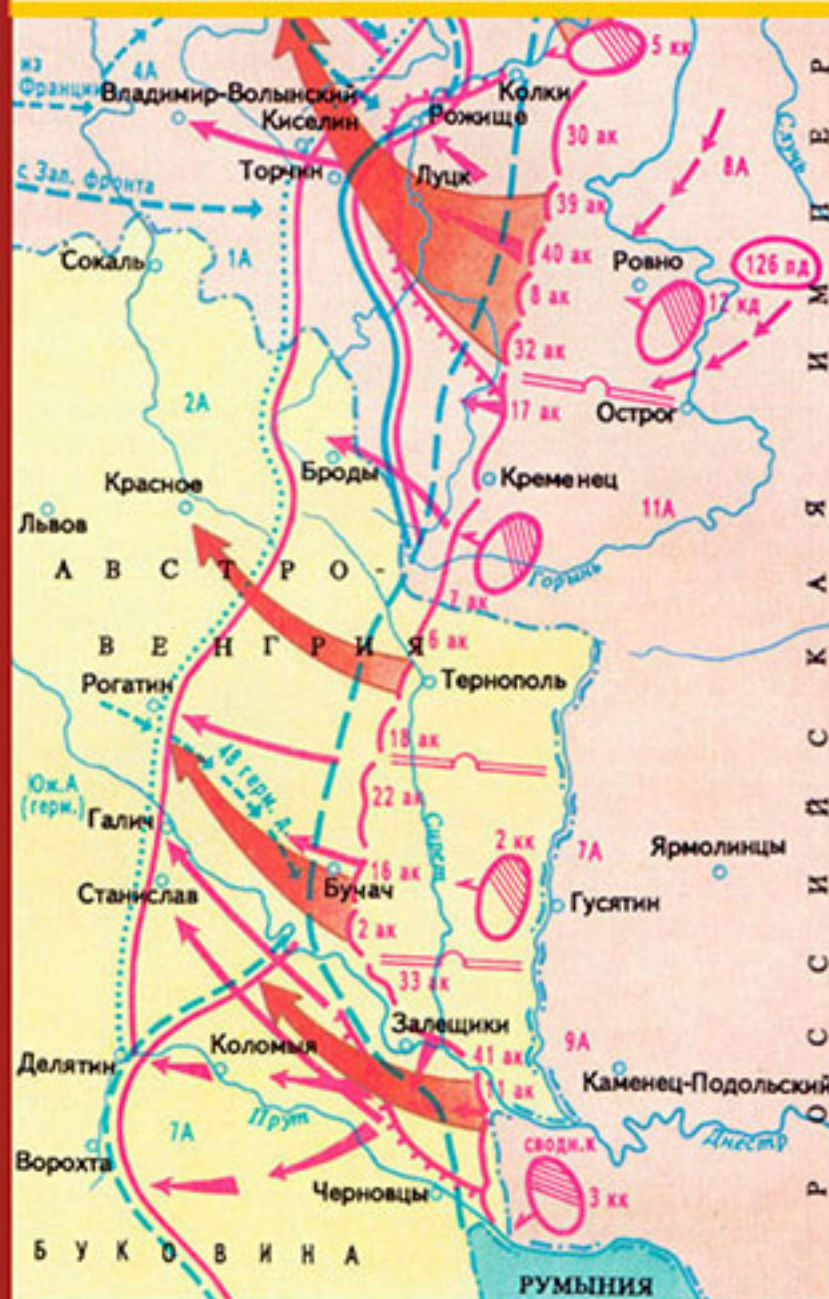


100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ



С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

*Бурная весна
Горячее лето*

Преображение России

Сергей Сергеев-Ценский

Бурная весна. Горячее лето

«ОМІКО»

1943, 1944

Сергеев-Ценский С. Н.

Бурная весна. Горячее лето / С. Н. Сергеев-Ценский —
«ОМКО», 1943, 1944 — (Преображение России)

Четыре романа известного русского советского писателя С. Н. Сергеева-Ценского (1875–1958) – «Зауряд-полк», «Лютая зима», «Бурная весна» и «Горячее лето», входящие в эпопею «Преображение России», – органично связаны образом прапорщика Николая Ливенцева, что позволяет читателю увидеть не только эволюцию главного героя, но и те глубинные изменения, которые позволили людям, терпевшим поражение за поражением, сначала действительно зауряд-полкам, почувствовать свою силу и совершить то, что многие военные историки называют чудом – Брусиловский прорыв. Романы «Бурная весна» и «Горячее лето» описывают события весны и лета 1916 года – подготовку и проведение блестящей наступательной операции русской армии, известной как Брусиловский прорыв (3 июня – 22 августа 1916), в ходе которой было нанесено тяжелое поражение армиям Австро-Венгрии и Германии, и заняты Буковина и Восточная Галиция.

© Сергеев-Ценский С. Н., 1943, 1944

© ОМКО, 1943, 1944

Содержание

Бурная весна	5
Глава первая	5
Глава вторая	17
Глава третья	28
Конец ознакомительного фрагмента.	36

С.Н.Сергеев-Ценский

Бурная весна. Горячее лето

Бурная весна

Глава первая

В пути на фронт

I

Лучился и сиял широкий южный день конца марта 1916 года.

Погромыхивая на стыках рельсов, добросовестно пыхтя локомотивом, однако не слишком спеша, двигался на запад пассажирский поезд, почти целиком из красных вагонов «четвертого» класса.

В купе единственного желтого вагона было тесно, – все шесть мест заняты, и довольно густо стояли в проходе, – поезд был переполнен. Машинист вел его в распоряжение одной из армий Юго-западного фронта, главнокомандующим которого незадолго перед тем был назначен на место генерала-от-артиллерии Иванова генерал-от-кавалерии Брусилов.

Так как все пассажиры в купе были офицеры, то вполне естественно, что разговор между ними шел именно об этом: ведь у каждого из них была та гнетущая неизвестность, в которой вершителем судеб в большой мере являлся главнокомандующий, позади же болезненно ныла одна только обидная горечь военных неудач.

Но все эти неудачи свалились на Россию благодаря кому же? – Это был острый и большой вопрос. Его решали везде в мире и везде в самой России, где хоть сколько-нибудь работала мысль; пытались решать его и здесь, в насквозь прокуренном, синем от дыма, несмотря на открытое окно, купе.

Старшим по чину оказался здесь подполковник интендантского ведомства, человек слабо запоминающейся внешности и мягких манер, несколько старше сорока лет на вид, с академическим значком на тужурке.

Говоря немного в нос и как будто даже делая это намеренно, он обращался преимущественно к своему визави – капитану артиллерии, имевшему упрямый выпуклый лоб и жесткие, подстриженные черные усы.

– В Киеве я был в командировке по делам снабжения седьмой армии, и там, представьте вы себе, от многих слышал, что генерал Иванов считает войну уже окончательно проигранной и будто бы несколько раз докладывал самому государю, что был бы рад, если бы ему удалось защитить Киев, – только Киев, – а все остальное, что на запад от Киева, это, по его мнению, уже обречено и не за-щи-ти-мо!

– Как так не защитимо? – удивился капитан. – Фронт сейчас в трехстах верстах от Киева, это – во-первых, а, во-вторых, любую позицию можно защитить, были бы только снаряды.

– И желание защищаться, – скромно добавил один из двух в купе прапорщиков – белокурый, узкоплечий, слабый на вид, однако с очень располагающей к себе внешностью. Впрочем, он тут же вышел из купе, притворив за собою дверь.

– «Любую позицию» можно защищать только тогда, когда она по-настоящему мощная позиция, – эта поправка необходима, – улыбаясь, обратился непосредственно к артиллеристу

поручик инженерных войск, сидевший рядом с интендантом, густобровый, сероглазый, куривший из небольшой трубки какой-то очень вонючий табак. – Французы, например, вот которую уж неделю защищают Верден, – это позиция мощная, а наш Брест-Литовск не продержался и десяти дней, а Ковно было взято за неделю, даже, кажется, меньше того.

– А кто Ковно защищал, кто? – бурно возразил поручику штабс-ротмистр, кавказец по облистью и по акценту. – Генерал Григорьев, который бежал из гарнизона? Вопрос, сколько он получил с немцев, на суде подымался, а? Не подымался... Присудили только на пятнадцать лет каторги, а надо было повесить! Повесить, как полковника Мясоедова, немецкого шпиона, вот как надо было, а то каторга!

– Тем более что генерал этот уже весьма староват, и пятнадцать лет каторги или один год – для него решительно безразлично, – насмешливо вставил другой прапорщик с лицом бледным, как после долгой болезни, но тем не менее энергичным. Он с трудом выносил табачный дым, с явным неудовольствием смотрел на поручика и непосредственно после сказанного по поводу наказания генерала Григорьева буркнул своему соседу: – Послушайте, черт возьми, что вы такое курите, поручик? Это не шкура ли какого-нибудь скунса, от которого бегут, как известно, даже и леопарды, затыкая носы хвостами?

– Никак нет, это – все-таки табак, – весело отозвался на это поручик, – только не отечественный, а немецкий: нашли наши солдаты в отбитом окопе ящик с таким табаком.

– И здесь немец гадит! Уверяю вас, что этот ящик оставлен сознательно, чтобы вас известить медленной пыткой! Это провокация, а не табак, – сказал прапорщик, блеснув карими живыми глазами. – Всякая война вообще довольно обдуманная штука, но так изощряться во всевозможных каверзах, как немцы, это значит уж сделать из войны профессию. Говорил же Бисмарк о румынах, что это не нация, а профессия, однако и немцы – это тоже теперь профессия... необыкновенно опасная для всего человечества в целом, а в первую очередь для нас, способных курить их скунсов и виверр и находить в этом удовольствие.

Инженер-поручик дотянулся рукою с трубкой до окна, выбил из нее табак и примирительным тоном обратился к прапорщику:

– Вы видели, что я сделал? Теперь открывайте мне свой портсигар.

– Откуда вы взяли, что у меня есть портсигар? – несколько удивился прапорщик. – Нет и никогда не было. Табак я все-таки выносил прежде, могу выносить и теперь, хотя уже пробит пулей (тут он указал пальцем на грудь). Но суть дела всецело в том, защитима или не защитима русская земля, и почему она была защитима прежде, и почему это свойство ее так резко изменилось теперь.

Университетский крестик, хотя и примелькавшийся уже на тужурках прапорщиков, энергичное лицо, свободно льющаяся речь и жесты, ее естественно дополняющие, – все это заставило подполковника-интенданта спросить:

– Простите, вы – юрист? Адвокат, наверное?

– Нет, я – математик, – ответил прапорщик. – И, как математик, я ищу доказательств, чтобы прийти к священной для всех математиков фразе: что и требовалось доказать. Если Иванов заменен Брусиловым, то значит ли это, что хотели сделать лучше?

– Но ведь Брусилов-то как-никак боевой генерал, – ответил на этот вопрос артиллерист, – а какие же боевые подвиги значатся в послужном списке у Иванова? Ведь он – куропаткинец!

– А это разве не подвиг, что он – крестный папаша наследника престола? – подкивнул прапорщик. – Я от кого-то слышал, что сама Александра Федоровна пишет ему иногда по-русски так: «Кресник ваш жилает дедушке всево лушаго». Как же можно было сместить такое близкое к престолу лицо и назначить взамен какого-то вообще генерала Брусилова? Нет, как хотите, а ясности тут решительно никакой, если только этого не потребовали наши союзники.

– Вот именно – они-то и требуют наступления, а Иванов будто бы наступать отказался, – подхватил инженер-поручик, а штабс-ротмистр кавказец, с предупредительной миной на густо загорелом лице, дополнил:

– А между тем, господа, сами немцы все время пишут, что они готовят на нас решительное наступление весной!

– Значит, не только защищаться, а нападать мы должны, поэтому и Брусилов – главнокомандующий, – сказал прапорщик, обращаясь к капитану-артиллеристу. – Но вот вы сказали: «Были бы снаряды», а я в госпитале отстал от событий и не знаю, как у нас со снарядами.

– Снаряды на фронт гонят и гонят, снарядного голода теперь долго не будет, – ответил артиллерист и добавил безразличным тоном: – А вы где были ранены?

– На позициях против села Коссув, – таким же безразличным тоном ответил прапорщик, но капитан подхватил оживленно:

– Коссув?.. Слышал я что-то об этом Коссуве: не то там на позициях много солдат наших замерзло, не то какой-то пехотный полк самовольно оттуда ушел зимой...

– Было, было и то и другое в непосредственной связи, – ответил прапорщик, однако без всякого желания говорить об этом полнее.

– То-то вы и ставите вопрос: защитима или не защитима наша земля, – участливо обернулся к нему интендант и вдруг спросил неожиданно для прапорщика: – Ваша фамилия, простите?

– Ливенцев, – ответил тот, и так как интендант переспросил, не разобрав, то пояснил: – Фамилия сия происходит от названия одного города в Орловской губернии – Ливны, о котором принято говорить: «Ливны всем ворах дивны»...

Это почему-то рассмешило всех в купе, даже интендант улыбнулся. А поручик, снова набивая трубку своим невозможным трофейным табаком из вышитого бисером кисета, сказал прапорщику Ливенцеву:

– Слышал я, что от вашей Орловской не отстает и Тверская, а также Витебская. По крайней мере факт будто бы тот, что тверской помещик Офросимов, – он же член Государственного совета, а не кто-нибудь вообще, – объединился со своим зятем, тоже помещиком, председателем Витебского земства, и общими усилиями они обработали казну на огромную что-то сумму, – так что трудно и сосчитать.

– Выкладывайте данные, я сосчитаю, – я математик, – с большим интересом отозвался на это Ливенцев.

– Да ведь вот опять я вам буду мешать своей трубкой, – лукаво покосился на него поручик.

– Ничего уж, как-нибудь вытерплю.

– Да всех обстоятельств дела я и сам не знаю. Получил будто бы этот Офросимов подряд на шитье солдатских сапог, а в Тверской губернии есть такое село – Кимры, где только этим все и занимаются – сапоги шьют – и старики, и ребята, и бабы, – все под итог... Ну вот, значит, Офросимову, как он тверской помещик и член Государственного совета, и кожи в руки.

– Кожи для солдатских сапог? И много? – оживленно, однако не без лукавства, спросил интендант.

– Мне кажется, что-то очень много, так что я даже усомнился: двести тысяч пудов! – вопросительно посмотрел на интенданта поручик, но интендант отозвался, пожав плечами:

– Что же, – большому кораблю большое и плаванье... Я, впрочем, про это дело знаю: интендантство ведь продало Офросимову эти кожи, а не кто другой. Но дело в том, что кожи эти он со своим зятем купил у казны по четыре рубля за пуд и, не успев еще внести за них деньги, которых и не было у обоих компаньонов, – ведь почитай миллион! – перепродал кожи партиями частным поставщикам сапог по двадцать уже рублей за пуд!

– А это уж четыре миллиона! – вставил Ливенцев.

– Вопрос: сколько за пару сапог будут драть с казны эти поставщики? – возмущенно заметил кавказец, а капитан кивнул ему выразительно, добавив при этом:

– Охулки на руку не положат, – будьте покойны!.. Мне кажется даже, что депутаты Шингарев и Годнев внесли вопрос об этих кожах в Государственную думу, и я в свое время читал в газетах, что дело об этом подниматься не будет.

– Вот видите, господа, как воруют тверские и витебские! – с загоревшимися глазами обратился Ливенцев непосредственно к артиллеристу. – Орловским, конечно, не уступают. Но любопытно бы знать, из каких губерний вышли дельцы артиллерийского ведомства, перед которыми, – если верить слухам, – все эти члены Государственного совета – воры просто мальчишки и щенки!

– А что такое? Какие дельцы артиллерийского ведомства? – обиженным несколько тоном спросил капитан.

– Неужели не знаете? – удивился Ливенцев. – А в тылу ведь говорят об этом без утайки. Я знаю, что снарядов у нас не было уже в начале войны, сейчас же их доставляют, конечно, из запасов наших союзников. Тяжелых орудий у нас тоже было очень мало...

– И сейчас мало, – вставил капитан.

– Вот видите как! А между тем ревизия обнаружила, что не четыре миллиона, а целых два миллиарда прикарманили молодцы из артиллерийского ведомства в Петрограде!

– Разве два миллиарда? – счел нужным удивиться интендант, хотя тут же добавил: – Я что-то слышал подобное, но не давал веры: мало ли что болтают!

– Какое же «болтают», когда уж и особая комиссия назначена для расследования этого дела, – возразил Ливенцев, – и возглавляет эту комиссию прокурор рижского окружного суда Якоби!

– Я не читал об этом в газетах, – сказал поручик.

– Еще бы – так вот и напечатали это в газете! – вскинулся на него штабс-ротмистр.

– Слухи верные, так как называют и имена, – продолжал Ливенцев. – Говорят даже, что великий князь Сергей Михайлович, ведающий артиллерийскими делами, пытается сорвать расследование, науськивает на Якоби известного сенатора Гарина, но дело уж получило большую огласку, хотя и в стороне от газет. Если о законной жене иные знатоки жизни говорят: «Жена – не стакан вина – один не выпьешь», то тем более о двух миллиардах можно сказать, что рассовать их можно было только в очень большое количество карманов... между прочим и в карманчик балерины Кшесинской, которую, как всем известно, содержит сам великий князь. Авось расследование выяснит, кто скопился там, в артиллерийском ведомстве в Петрограде, – не немцы ли?

– Сухомлинов, бывший военный министр, как кажется, не из немцев, однако где он сейчас? – вопросом на вопрос ответил Ливенцеву интендант, но кавказец штабс-ротмистр быстро поддержал прапорщика:

– Если даже и не немец, так что из того? Сам не немец, так зато жена немка или в этом роде! А вы знаете, как приказано относиться у нас к пленным немцам? Наши пленные работают у немцев, как черти, а немцы у нас в плену пальцем о палец не ударят. Кто настоял на этом? Александра Федоровна – вот кто! Потому что ярая немка!

– Я тоже слышал довольно пакостную историю насчет валенок, – сказал капитан, – будто бы немцы прошлым летом закупили у нас и вывезли через Финляндию огромную партию валенок... Спрашивается, кто же им продал их и кто позволил вывезти?

– Даже и хлеб вывозили через ту же Финляндию сотнями тысяч пудов, – добавил интендант, – а у нас теперь большие затруднения с доставкой хлеба на Северный фронт и даже в Петроград.

– Вот видите, – и вы кое-что знаете! – подхватил это Ливенцев. – Спрашивается, с кем же мы воюем? И там ли мы воюем, где следует? И нет ли в этой смене главнокомандующих Юго-западного фронта какого-нибудь далеко рассчитанного хода, как у заправских шахматистов?

– То есть, какого же именно? – спросил поручик, отрываясь от своей зловонной трубки.

Ливенцев отмахнул от себя дым рукой и ответил неопределенно:

– «Наружность иногда обманчива бывает»... Это из басни. А иногда делают с виду «как можно лучше», только затем, чтобы вышло как можно хуже.

– Кто же так делает? – не понял капитан.

– Кто? Да вот именно те, кто ведает высшей политикой, – сказал Ливенцев. – Те, кто могут безнаказанно рассовать по карманам два миллиарда и оставить фронт без снарядов и пушек; кто производит, тоже безнаказанно, уголовные махинации с кожей для солдатских сапог и тем самым разувает фронт; те самые, кто продает и валенки и хлеб, чтобы у нас не было ни того, ни другого, а у немцев чтобы непременно было; те самые, при ком нельзя даже и заикнуться о том, что у нас в армии подозрительно много генералов немцев, потому что сейчас же они обзовут это «пошлым немецеством». А Вильгельм тем временем всячески добивается, чтобы Швеция или сама бы выступила против нас, или хотя бы пропустила его войска через свою территорию, потому что в Берлине уже готов план напасть через Финляндию на Петроград, – так сказать, в самый центр мишени направить удар. О том же, чтобы у нас фронт был везде и всюду, куда ни повернись, об этом Вильгельм и его присные позаботились гораздо раньше, конечно, чем начали против нас войну.

– Так что выходит, по-вашему, что это удивительно даже, как мы почти уж два года воюем, а? – спросил, улыбаясь, поручик. – Однако все-таки вот воюем.

– Разумеется, воюем, что же больше делать? – улыбнулся и Ливенцев. – Вопрос только в том, во имя чего воюем... Ничто в природе не пропадает, – это закон. Не пропадают зря и все наши усилия и жертвы, конечно. Жертвы эти приносятся на алтарь, только какому богу? Поскольку я – человек любознательный, то мне хотелось бы узнать это заранее, а не тогда, когда меня укокошат и когда я, будучи уже бесплотным духом, стану всеведущ.

– Вы разве верите в это? – удивленно спросил его поручик.

Ливенцев заметил, что не менее удивленно поглядели на него и другие офицеры, поэтому он шире распустил свою улыбку и ответил не столько поручику, сколько всем вообще:

– Вот видите как, – скажешь не на уроке закона божия, а вот так в приватной беседе о бессмертии души, и на тебя смотрят, как на спятившего с ума. А между тем тот же генерал Брусилов, насколько я слышал, усердно занимается на досуге столоверчением, вызывает дух своей покойной жены, задает ему, этому духу, вопросы и будто бы получает ответы. Пусть это, – как бы это сказать помягче? – маленькая и вполне простительная в его почтенные годы слабость, но я бы на его месте этого не делал, – неудобно как-то в двадцатом веке терять время на такие пасьянсы, тем более главнокомандующему целым фронтом!

– Злой, злой у вас язык, прапорщик! – деланно-добродушно заметил интендант, но Ливенцев не согласился с этим.

– Язык обывательский, а не злой. И совсем не таким языком надо бы говорить о том, что творится вокруг нас и что творят с нами. Но если даже и плетью, как известно, обуха не перешибешь, то языком тем более.

В это время другой прапорщик, белокурый и скромный, выходявший из вагона, вошел в купе и сказал:

– Сейчас, господа, подъезжаем к большой станции, где есть буфет.

– Что и требовалось доказать! – весело отозвался ему за всех Ливенцев.

И в купе началось оживление, которое всегда бывает у засидевшихся путешественников, когда им преподносится возможность выйти из вагона, пройтись по перрону, поглазеть туда-сюда по сторонам, съесть тарелку борща, выпить стакан чая.

II

На станции этой пассажирский поезд стоял долго – пропускал поезда товарные: одни – порожняком идущие с фронта, другие – груженные орудиями, боевыми припасами, продовольствием, маршевыми командами – на фронт.

Здесь вообще уже чувствовалась близость фронта, знакомая прапорщику Ливенцеву. Однако, отвыкнув от этой суеты за два месяца, проведенных в тыловом госпитале, он присматривался ко всему кругом с большим любопытством.

Когда его увозили с фронта, стояла еще зима, крутила поземка, поля лежали белые до горизонта, на котором толпились тоже белые холмы; теперь же упруго все дрожало, как туго натянутая струна, весенним подъемом сил. Ощутительно било в глаза это брожение во всем бодрых и бойких весенних соков, но в то же время хотелось думать Ливенцеву, что весна весною, а подъем настроения – сам по себе. Точнее, – счастливое совпадение двух весен – в природе, как и на фронте.

Маршевики в вагонах, уходящих от станции к западу, заливались гармониками – «ливенками», гремели песнями, – и никакого не чувствовалось в этом надрыва, напротив: заливались и гремели от чистого сердца и не спяну: водкой ведь их никто не поил тут на станции. Суета на вокзале, на перроне, на путях была не беспорядочная, а деловая, необходимая суета, не слишком крикливая. Это заметил и белокурый прапорщик, который старался здесь, на вокзале, держаться поближе к Ливенцеву.

У него были свои затаенные мысли, которые он хотел кому-нибудь доверить, но, видимо, боялся, чтобы его не вышутили, поэтому не к кадровым офицерам, а к своему брату-прапорщику он с ними и обратился, застенчиво улыбаясь:

– Вот, знаете ли, смотрю на вас, – вы ведь гораздо старше меня годами и на фронте уж были, – поймите меня, пожалуйста, как надо... очень не хочется умирать!

Сказал и как-то сразу осекся и глядел оробело, но Ливенцев отозвался ему просто:

– Кому же и хочется? Никому не хочется, исключая помешанных на идее самоубийства.

– Вы согласны? – обрадовался застенчивый прапорщик. – Меня это очень угнетает, – сказать откровенно, – но я вот и школу прапорщиков окончил и в полк еду, а как я там буду, не знаю.

– Ничего, втянетесь и будете как все.

– Главное, я ведь совсем не военный по своему складу характера.

– Да уж теперь мало осталось военных по натуре, зато много стало военных по приказанию.

– Вот именно, именно! И я такой... И я думаю, что меня в первом же сражении убьют.

– Могут убить и до первого сражения, – усмехнулся Ливенцев. – Перестрелки ведь на фронте всегда бывают, и сражениями они не считаются... Там все гораздо проще, чем представляется издали. Неприятельская пуля летит по своей траектории; на ее пути оказались вы, – ясно, что она в вас и вопьется.

– Так было и с вами тоже?

– Совершенно так было и со мной. А что касается подвига, то никакого особенного подвига я не совершил и сейчас тоже не думаю, что совершу.

– Не думаете, что совершите, или не хотите думать о подвиге?

На этот неожиданно витиеватый вопрос Ливенцев ответил намеренно витиевато:

– Даже и подвиг, как все в нашей жизни, требует, чтобы его оценили и занесли в соответствующую графу, а если нет поблизости этого оценщика, то, стало быть, нет и подвига. Простое же выполнение воинских обязанностей за подвиг считать не принято.

Так как на очень внимательном худощавом лице собеседника начинал просвечивать какой-то новый, наивный, однако трудный для решения вопрос, то, чтобы предупредить его, Ливенцев добавил:

– Кстати, моя фамилия – Ливенцев, а ваша?

– Обидин... Прапорщик Обидин, – торопливо ответил белокурый.

– А в какой же, между прочим, полк вы назначены, прапорщик Обидин? – спросил Ливенцев, так как на защитного цвета погоне Обидина была только звездочка, но не было никаких цифр.

И Обидин назвал как раз тот самый полк, в который был назначен и Ливенцев.

– Вот ка-ак! – удивленно протянул он. – Так мы с вами, не желающие умирать, однополчане, значит? Такие-то бывают счастливые совпадения субстанций!

Но если Ливенцев несколько удивился, то Обидин непритворно обрадовался такому совпадению и весь так и лучился изнутри, когда говорил не совсем складно:

– Это замечательно, послушайте! Это прямо, я даже не понимаю, как... Ведь вас, конечно, ротным командиром назначат... Возьмите меня к себе в полуротные! Ей-богу, право, возьмите!

– Погодите просить, что вы! Вам тоже роту дадут, – за этим дело не станет.

– Ну куда же мне так вот сразу и роту, что вы! – отмахнулся обеими руками Обидин. – Да я и командовать не сумею. Там каждый рядовой больше знает, чем я, только что из школы, а уж об унтерах и говорить нечего!

– Вот унтера и фельдфебель вас и обучат фронтовой мудрости... А что это такое там, позвольте-ка? Поглядите-ка сюда!

Внимание Ливенцева привлекло стадо волов, которое показалось невдали от станции, когда двинулся поезд с орудиями, прикрытыми брезентом.

– Что там такое? Волы? – спросил Обидин.

– Волы-то волы, да в каком виде! По ним можно, не снимая с них шкур, изучать скелет! Посмотрите, – они просто падают один на другого!

– Это для фронта?

– Разумеется, для фронта, но куда же они годятся? Да они и не дойдут до фронта, подохнут дорогой!

Как раз в это время подошел к ним интендант, доставший в буфете что-то, завернутое в газету, и подхватил последние слова Ливенцева.

– Вы бы спросили, сколько поддыхает от бескормицы вообще в этих «гуртах скота», я бы вам сказал довольно точно. В среднем из трех два, – это какой процент будет?

– Шестьдесят шесть! Неужели все-таки шестьдесят шесть процентов, и вы, интенданты, это терпите? – возмутился Ливенцев.

Но интендант ответил довольно невозмутимо:

– Не мы, не мы – на нас прошу не валить! Мы это гиблое дело передали уполномоченным министерства земледелия, и теперь уж они этим ведают, а мы в стороне. Вы себе представить не можете, сколько скотов оказывается у нас, чуть только их приставят к такому хлебному занятию, как доставка гуртов скота! Ведь они мало того, что кормовые деньги себе в карманы кладут, они еще по дороге меняют порядочную скотину на полудохлую, – зарятся на додачу! Уверю вас, что казне было бы выгоднее кормить солдат сибирскими рябчиками, чем мясом!..

– Слыхали? – обратился к Обидину Ливенцев, но тот был вообще заметно смущен тем, что услышал, и спросил интенданта:

– А сколько, господин полковник, съедает таких волов фронт в день?

– Смотри какой фронт... Наш, Юго-западный, я знаю, съедает вместе со своими тыловыми частями семнадцать с половиной тысяч голов в неделю, но это имея в виду, что по средам и пятницам он постится, и тогда в котел идет кета или другая рыба. А в общем, конечно,

стихийное бедствие, и если в этом году война не кончится, то в будущем именно гуртовщики ее и кончат: на голодное брюхо много не навоюешь!

Сказал и отошел улыбаясь, осторожно держа что-то, завернутое в газету, а подошедший с запада санитарный поезд закрыл тощее стадо качающихся на ходу, совершенно фантастичных, особенно в такой яркий день, животных, необычайно длинноногих от худобы, с резкими бликами на всех позвонках и с густыми тенями во всех впадинах хлипких тел. Масти они были серой, но издали казались голубыми.

К санитарному поезду, шелестя шелком черного платья, прошла по перрону мимо Ливенцева какая-то молодая женщина, показавшаяся ему знакомой: где-то видел и этот взгляд, и эти высокие полукружия бровей, и постанов головы на ровной белой открытой шее, и даже эту четкую походку.

Он следил за нею, когда она шла к последнему вагону прибывшего с запада поезда, и был очень удивлен, увидев какого-то рыжеусого унтер-офицера, спрыгнувшего с подножек этого вагона и расцеловавшегося с дамой, как с родною. Но еще больше удивило его, что следом за этим унтером вышел из вагона и тоже спрыгнул другой унтер, – бородатый, осанистый, – один из взводных командиров его бывшей роты – Старосила.

И, несмотря на то, что он не захотел возвращаться в прежний полк и выхлопотал себе перевод даже и в другую дивизию, он обрадованно крикнул, сделав рупором руки:

– Старосила!

Тот присмотрелся и тут же, одернув гимнастерку и поправив фуражку, пошел к Ливенцеву, только успевшему сказать прапорщику Обидину:

– Это – мой боевой товарищ!

– Ваше благородие, честь имею явиться! – казенными словами приветствовал его Старосила, сияя запавшими серыми глазами, но Ливенцев обнял его и ткнулся лицом в его бороду, точно желая показать даме, которая в это время на него смотрела, что у него тоже есть родной – унтер.

– Очень рад я, братец, что ты жив, очень! – вполне искренне говорил Ливенцев, любуясь бородачом.

– Так же и я само, выше благородие! Аж точно сонечко мне в глаза вдарило, как вас увидел! – вполне искренне и с дрожью в голосе отозвался Старосила.

– А как же ты сюда попал? По какому случаю?

– Да случай, как бы сказать, непредвиденный, ваше благородие, – понизил голос Старосила, слегка качнув головою назад, на вагон. – Тело сопровождать был назначен.

– Тело? Чье тело?

– Так что подполковника Добычина, – еще больше понизил голос Старосила и закончил почти шепотом: – А этот со мной – полковой каптенармус Макухин, он приходился ему зять, покойнику, и эта с ним стоит сейчас – его дочка, ваше благородие.

– Вот ка-ак!

Ливенцев сделал несколько шагов по перрону, чтобы можно было говорить громче, и спросил, хотя не питал никакого расположения к Добычину во время службы с ним в одном полку:

– Как же все-таки он был убит, – при каких обстоятельствах?

– Обстоятельства такие, ваше благородие... бандировка была, – и найдись осколок на ихнюю голову, – в один раз упали – и не живые, – объяснил Старосила и добавил: – Я только до этой станции должен, а дальше не знаю уж, как: везти ли его будут на ихнюю родину, или здесь где похоят... Унтер-офицер этот, каптенармус Макухин, он, говорили так, из богатых людей, – вполне может и дальше ехать, – ему что! И даже гроб он достал не простой, а цинковый.

– Это был наш заведующий хозяйством – подполковник Добычин, – обратился к Обидину Ливенцев, а Старосила сказал:

– Вот рады будут все в нашей роте, как вы ее опять примете, ваше благородие!

– Ну вот, рады, что ты, брат, – не все ли равно, что я, что другой?

– Как можно, ваше благородие! Разве наша солдатня, она хотя бы какая ни на есть, не понимает? – и Старосила почему-то поглядел при этом на Обидина и добавил: – Не в нашу ли роту и вы тоже будете?

– Нет, я в другой полк, – ответил, улыбнувшись, Обидин.

– Я тоже в другой полк, – его же словами ответил Старосиле и Ливенцев.

– Шуткуете? – оторопел Старосила.

– Ничуть. Вполне серьезно! Даже в другую дивизию.

И, видя, что Старосила вполне непритворно опечален, хлопнул его по плечу, объясняя:

– С начальством ничего не поделаешь, – взяло и назначило в другую дивизию: там я оказался нужнее... Прощай, брат Старосила! Мне надо идти в свой вагон, – торопливо сказал он вдруг, обнял его так же, как и при встрече, и пошел, едва взглянув в сторону дочери Добычина и ее мужа – Макухина.

– Вот не думал, что такая сидит во мне привычка к своей роте, – извиняющимся тоном обратился он к Обидину. – Великое дело оказались окопы, в которых вместе торчали, которые и заняли вместе с бою... А этот Старосила, он был толковый взводный, если бы в новом полку были у меня хоть немного похожие, стал бы я, как говорится, кум королю и сват Гаврику.

Обидин поглядел на него испытующе и спросил осторожно:

– То есть, толковый он был взводный в смысле защиты или как-нибудь еще?

– И защиты и атаки тоже, а как же иначе? – немного удивился и тону и смыслу этого вопроса Ливенцев.

Кругом снова толпа военных всяких рангов – шумная и однообразная, лишь кое-где расцветенная белыми халатами сестер милосердия и их яркими красными крестами. Сестры были из санитарного поезда – дома скорби на колесах.

Оттуда и туда резво бежали засидевшиеся санитары с чайниками. Там в одном из вагонов кто-то громко воюще стонал с небольшими перерывами; в то же время два военных врача, шинели внакидку, медленно прогуливались в тени около другого вагона.

На платформе тяжело двигались тележки с ящиками из новеньких веселых досок и фанеры, на которых что-то было написано, наляпано черной краской. То и дело слышались рабочие крики: «Посторонитесь!.. Дайте ходу!.. Поберегись, эй!»

Весна и тепло между тем заставляли многих забывать о том, что отсюда же не очень далеко до фронта, где очень часто режут пушки и стрекочут пулеметы. То там, то здесь вспыхивал залихватский женский смех, заботливо подкручивались усы, молодежато выпячивались груди, кое у кого украшенные белыми крестиками.

Но исподволь во все звуки вокзала, покрывая их, врывался сверху жужжащий, однообразный, ровный гул, и когда он заставил всех поднять головы вверх, слышались крики:

– Аэроплан!

– Немецкий!

– Почему же немецкий? Может быть, и наш!

– А зачем здесь наш?

– Немецкий! Вот увидите!

– Сейчас начнет бросать бомбы!

– Да что вы говорите!

– Говорю, что надо! А другого не видно?

– Кажется, нигде не видно...

Шеи всех вытягивались, наблюдая за полетом вражеского самолета; и в то же время все пятились назад, готовясь куда-то и как-то скрыться от губительной бомбы, которая, казалось, вот-вот полетит вниз на станционное здание, или на перрон, или на какой-либо из поездов, стоящих на путях в ожидании отправки.

Воздушная машина кружилась над станцией замедленно и довольно низко. Ни у кого уж не оставалось сомнения в том, что она немецкая. Спрашивали один другого: неужели нет орудий, чтобы сбить разбойника? Дамы сочли самым надежным укрытием зал первого класса и кинулись туда толпой...

Тревога оказалась напрасной, – аэроплан потянул к западу и наконец скрылся из глаз.

– Сфотографировал немец станцию и ушел, – сказал Ливенцев подошедшему к нему капитану-артиллеристу, – а бомб не бросал, хотя и мог бы.

– Вообще ведь они только приличия ради пишут о своем весеннем наступлении на нас от моря до моря, а на самом деле задирать нас желания пока не имеют, – отозвался капитан.

– Почему же все-таки не имеют желания? – с живейшим интересом спросил Обидин.

– Ну, известно уж почему! – усмехнулся капитан. – О сепаратном мире с нами ведутся переговоры. Александра Федоровна вкупе с Распутиным стараются изо всех сил.

– Я даже слышал мельком, – вставил Ливенцев, – будто Распутин по пьяной лавочке говорил одному адвокату: «Если мы в марте не подпишем с немцами мира, – наплюй мне тогда в рожу!..» Адвокат этот распускал такой слух в феврале...

– А март уже прошел... – перебил его капитан.

– Отсюда следует, что был бы теперь под рукой у адвоката Распутин, а наплевать ему в косматую рожу он уже имел право, – закончил Ливенцев.

– Зато Россия-то ведь не имеет права на сепаратный мир, – как же может она его заключить? – не совсем смело, однако с затаенной надеждой на желательный ответ спросил его Обидин, и Ливенцев оправдал его надежду.

– Э-э, – сказал он, – «не имеет права»!.. Право мы носим на концах наших штыков... за неимением у нас более выразительных средств войны. Дело не в том совсем, имеем или не имеем мы право заключать мир, а выгодно ли это для нас, или не выгодно. Мы можем заключить мир, даже, пожалуй, получить и какую-нибудь прирезку территории по этому миру, но зато мы развяжем руки Вильгельму, и он всеми своими силами обрушится на Запад и его раздавит... А когда он сделает это, то что ему помешает, несмотря на мир с нами, послать против нас, демобилизованных, все армии свои с Запада? Это и будет *divide et impera*! – разделяй и властвуй.

– Так что, по-вашему, выходит – выбора у нас нет, продолжать эту бойню мы должны? – с тоскою в голосе спросил Обидин.

– Да, выбора нет, должны, – его же словами, но твердо ответил Ливенцев.

– Тогда что же... тогда... не о чем и говорить больше... Остается одно – помирать, – пробормотал Обидин.

Ливенцеву, видимо, стало жаль его. Он положил руки ему на плечо и сказал, улыбаясь:

– Помереть мы с вами всегда успеем, но сначала надо попробовать кое-что путное сделать.

– А что же именно «путное»?

– Да, в самом деле, что вы называете «путным»? – почти одновременно спросил и капитан.

– Ну, уж, разумеется, не сдачу в плен, – уклончиво ответил Ливенцев.

Между тем в это время санитарный поезд, после свистков, дерганья и лязга, отодвинули куда-то дальше в тупик, и на его место мягко подкатил, попыхивая локомотивом, щегольской, совсем небольшой поезд, всего в три вагона.

– Это что же такое за поезд? – спросил теперь уже Ливенцев капитана.

А тот вместо ответа кивнул в сторону парадных дверей вокзала, откуда поспешно выходили один за другим два генерала, оказавшиеся тут и направлявшиеся к поезду. Заметны также стали теперь и жандармы, а толпа как-то вдруг поредела.

Инженерный поручик вместе со штабс-ротмистром кавказцем подошли откуда-то к группе Ливенцева, и первый из них сказал:

– Главнокомандующий Юго-западного фронта Брусилов катит экстренным поездом.

А второй добавил:

– По всей вероятности, едет в ставку, представляться царю.

– Неужели не выйдет промяться? – спросил Ливенцев. – Посмотреть хотя бы издали на вершителя наших ближайших судеб.

– Вы разве его никогда не видели? – удивился артиллерист.

– Не приходилось.

– Генерал как генерал... Точнее, как старый генерал, – ведь он уже далеко не молод.

– Фигура не строевая, – с сильным ударением на «не» сказал кавказец. – Я его тоже несколько раз видел. А на лошади держится хорошо.

– Еще бы плохо! Кавалерист, бывший берейтор, – несколько презрительно заметил поручик. – А роль кавалерии в этой войне оказалась скромной.

Кавказец не возражал против этого, тем более что его внимание, как и всех прочих, привлекли генералы, тяжело взбравшиеся в элегантный синий салон-вагон.

Шторы окошек этого вагона были полуприкрыты. Около вагона стали два жандармских офицера. Наконец, жандармский поручик в белых перчатках подошел к ним, пятерым, устремившим любопытные взоры на таинственный вагон Брусилова, и очень вежливо, однако твердо, попросил их не стоять на месте, а прогуляться в ту или иную сторону, куда им нужнее. Кстати он спросил, каким поездом и куда они едут. И, когда ему за всех ответил капитан, он даже встревожился:

– Так что же вы, господа! Вам тогда надо идти садиться в свой поезд: он двинется, как только этот поезд пройдет.

– А этот поезд куда идет, – в ставку? – спросил Ливенцев.

– Быть может, – неопределенно ответил жандарм, делая при этом рукой жест в ту сторону, где стоял на путях их поезд.

– А ставка теперь где? В Могилеве? – двинувшись первым, спросил было Ливенцев, но жандарм отозвался на это уже совсем неприязненно и сухо:

– Не могу знать.

Ставка была в Могилеве, и это было известно всем на фронте, всем в тылу, всем в Германии, всем в Австро-Венгрии, и, тем не менее, вслух об этом говорить не полагалось.

Когда Ливенцев подходил уже к своему вагону, он посмотрел все-таки в сторону таинственного, так тщательно охраняемого небольшого состава и увидел то, чего не удалось ему увидеть с перрона: генерал Брусилов действительно, как и предполагал он, вышел промяться.

Ливенцев узнал его по тем портретам, какие помещались в газетах и еженедельниках. Какой-то длинный, лодочкой вытянутый вперед козырек фуражки, а под ним овальное лицо с небольшими седоватыми, однако не совсем еще белыми усами.

Ничего показного, того, что называется бравым и так дорого сердцам всех любителей парадов, не было ни в лице, насколько его можно было разглядеть издали, ни в фигуре главнокомандующего Юго-западным фронтом. Средний рост, несильные, обвисшие стариковские плечи, заметная сутуловатость, – вот и все, что метнулось в глаза Ливенцева, пока генералы, вышедшие вместе с Брусиловым из вагона и явившиеся к нему с рапортами отсюда, со станции, не заслонили его.

Видно было, что он говорил что-то, но, должно быть, очень тихо, так как все около него тянулись к нему, чтобы расслышать.

Беседа на свежем воздухе продолжалась, впрочем, недолго. Брусилов, очевидно, спешил, а путь для следования его поезда был свободен. Ливенцев с любопытством наблюдал, как он будет подниматься по ступенькам вагонной лестницы, – не будут ли ему помогать при этом, – но поднялся он бодро, не коснувшись ничего руками, и эта маленькая подробность расположила Ливенцева в пользу Брусилова больше, чем если бы он прочитал о нем большую хвалебную статью.

– Когда я только что в начале войны, – сказал он, сидя уже в своем купе, – приехал в ополченскую дружину, куда был назначен, мне предлагали там адъютантство, но я отказался, – предпочел строевую службу. Однако, если бы теперь мне предложили стать не то чтобы адъютантом, конечно, а ординарцем или вообще каким-нибудь винтиком в штабе главнокомандующего Юго-западного фронта, я бы согласился.

– Ишь вы какой!.. Всякий бы согласился, поскольку в штабе сидеть гораздо спокойнее, чем в окопах, – иронически заметил на это подполковник-интендант.

Но Ливенцев покачал головой, усмехнувшись, и добавил:

– Я вас понял, а вы меня нет. Не в том смысле мне хотелось бы быть при штабе, чтобы увильнуть от пули и прочего, а исключительно затем, чтобы знать, что задумано главнокомандующим, и чтобы иметь возможность наблюдать, что из задуманного выйдет. Дело в том, что я математик, и в этом отношении неисправим, а ведь математики только и делают, что решают задачи, – то есть на основании известных данных отыскивают неизвестные.

– Что же, напишите Брусилову докладную записку и проситесь к нему в штаб, – сказал кавказец.

Но подполковник ядовито заметил:

– Разве можно в штаб попасть прапорщику да еще и без протекции? Что вы!

– Да я никаких шагов в этом направлении и делать не буду, конечно, – сказал Ливенцев. – Это у меня вырвалось просто в порядке минутного желания, и только.

Плавнo покачиваясь, прошел мимо их поезда штабной поезд, и Ливенцев, высунув голову в окошко, долго глядел ему вслед.

– Что, насмотрелись? – улыбаясь, спросил его Обидин, когда он наконец уселся на свое место.

– Насмотрелся, – в тон ему ответил Ливенцев. – А теперь посмотрим, что из этого путешествия Брусилова в Мекку может выйти.

Человек в красной фуражке, торчавший на перроне, дал знак. Засвистал старый, с оплывшим багровым лицом обер-кондуктор. Машинист дернул поезд так, что слетела на пол стоявшая на столике бутылка с недопитой фруктовой водой. Второй толчок был еще сильнее, чуть не слетели чемоданы с полок. Наконец, после третьего рывка, поезд тронулся. Подбирая осколки разбитой бутылки, чтобы выкинуть их за окно, поручик-инженер подкинул Ливенцеву и сказал многозначительно:

– Начало мы уже видим!

Глава вторая

Генерал Брусилов

I

Экстренный поезд, в котором ехал Брусилов, направлялся не в ставку верховного главнокомандующего, то есть царя, а в Бердичев, где была ставка главноюзя генерал-адъютанта Иванова. Положение создалось такое, что Брусилов хотя и назначен был на место Иванова, но тот не сдавал ему фронта около двух недель.

Крестный отец маленького наследника, великого князя Алексея, имел слишком сильную руку при дворе в лице императрицы Александры Федоровны и старого наперсника царя – министра императорского двора, графа Фредерикса. Шли интриги. Иванова обнадеживали, что приказ царя о его смещении еще не окончательный, что он вырван у слабовольного главноверха настояниями союзников, но совершенно нежелателен «святому старцу» – Распутину. Привыкший менять по своему капризу министров, создавший «министерскую чехарду» в России, «старец» полагал, что то же самое можно делать и с главнокомандующими, тем более с такими, которые проявляли строптивый воинственный дух, когда он плел уже закулисную паутину сепаратного мира с Германией и ее союзниками. Иванов был вполне хорош для этих целей, – он считал войну безнадежно проигранной, – Брусилов же мог повести себя совершенно нежелательно: при дворе известно было, что восьмая армия, которой командовал перед новым назначением Брусилов, считалась на фронте наиболее боеспособной.

О Куропаткине, главнокомандующем Северо-западным фронтом, не могло быть двух мнений: он полностью проявил себя в Маньчжурии, поэтому ни императрицу, ни Распутина не беспокоил и теперь. Генерал Эверт, главнокомандующий Западным фронтом, был тоже испытан как в Маньчжурии, так и теперь. Наступление, которое он провел на своем фронте в первой половине марта, обошлось в девяносто тысяч человек и не дало никаких результатов. Много погибло от весенней распутицы, так как фронт обратился в сплошное болото, разливавшееся днем и замерзавшее ночью. По обыкновению не хватало ни снарядов, ни сколько-нибудь способных генералов, чтобы наступать на сильно укрепленные позиции немцев.

В то же время никаких попыток к наступлению не делали ни немцы, ни австрийцы: первые увязли под Верденом, где перемалывали французские дивизии, но несли и сами огромные потери, вторые – на итальянском фронте, в Тироле, где дела их были весьма успешны. Момент для заключения сепаратного мира казался там, во дворце в Петербурге, наиболее благоприятным, но Румыния, которая считалась лестной союзницей, если бы решила наконец присоединиться к Антанте, вела себя выжидательно: покупала в России тысячи лошадей для своей кавалерии, продавала Германии миллионы тонн кукурузы для ее скота, о чем немецкие газеты писали как о крупнейшей победе.

Нужен был шумный разворот сил, нужен был блеск и гром наступления, и об этом-то наступлении, необходимом и для Франции, и для Италии, и для Румынии, усиленно думал начальник штаба верховного главнокомандующего, генерал Алексеев, человек большой трудоспособности и совсем не царедворец.

Им был уже подготовлен обширный доклад, которым нужно было начать совещание главнокомандующих в ставке под председательством царя, и подходил уже день, назначенный для этого совещания, – 1 апреля, – между тем Брусилов еще не принял фронта.

Столкнулись две русских власти того времени – царя и Распутина. Царь через Алексеева требовал, чтобы Брусилов как можно скорее приехал в Бердичев принять должность генерала

Иванова, а министр императорского двора Фредерикс сообщил Иванову, что ему пока нечего спешить сдавать должность и уезжать из Бердичева, почему Иванов и отклонял всячески приезд Брусилова.

Только категорическая телеграмма Алексеева, что царь 25 марта будет в Каменец-Подольске, где его должен встретить новый главнокомандующий Юго-западным фронтом, заставила Брусилова поверить наконец, что его назначение остается в силе, и выехать в Бердичев, тем более что от Иванова тоже была получена телеграмма, что он его ждет.

Генерал Иванов был главнокомандующим Юго-западным фронтом с начала войны, и Брусилов, командуя одной из четырех армий этого фронта, являлся его подчиненным. Теперь обстоятельства очень резко изменились: бывший подчиненный как бы сталкивал с места начальника.

Неудобство своего нового положения Брусилов чувствовал очень остро. Он знал, насколько был самоуверен, глубоко убежден в своих достоинствах, в своей незаменимости Иванов, и представлял поэтому с возможной яркостью, как тяжело он переживает свое назначение в Государственный совет, то есть на покой.

Однако оказалось, что он не в состоянии был даже приблизительно представить, как состарила этого бравого еще на вид старика отставка, хотя и одобренная «всемилоостивейшим рескриптом» с собственноручной надписью «Николай».

Иванов жил не в городе, а в поезде, в своем вагоне. Вечером, в день приезда Брусилова, он принял своего заместителя один на один в купе, освещенном только настольной лампочкой под желтым шелковым абажуром.

Первое, что бросилось в глаза Брусилову в этом осанистом бородатом старике с простонародным лицом, – были слезы. От желтизны абажура они блестели, как жидкое золото. Первое, что он услышал от него, были два сдавленных слова: «За что?»

Так мог бы сказать в семейной сцене кто-либо из супругов и скорее жена, чем муж; так мог бы сказать друг своему старому другу, уличив его в гнусном предательстве, угрожающем смертью; так мог бы сказать, наконец, отец своему любимому сыну, на которого он затратил все свои средства и силы и который сознательно подлю его опозорил.

Но между двумя главнокомандующими – старым и новым – никогда не было никаких отношений, кроме чисто служебных, и они очень редко виделись за время войны и только за год до войны познакомились друг с другом.

– Что «за что?» – озадаченно спросил Брусилов, сам понимая всю нелепость этого своего вопроса, но в то же время не подыскав другого.

Он пытался понять это «за что?», как «за что вы под меня подкопались и меня свалили?», но тут же отказался от подобной догадки: Иванову было, конечно, известно, что его подчиненный никогда не был в ставке и ни доносами, ни искательством не занимался. Да и сам Иванов, который был и выше ростом и плотнее Брусилова, положил обе руки на его плечи и приблизил свою мокрую бороду к его лицу, как бы затем, чтобы у него найти сочувствие, если не защиту.

Впрочем, он тут же сел, обессиленный, и... зарыдал, – зарыдал самозабвенно, весь содрогаясь при этом, как будто его заместитель только затем и спешил сюда с фронта, чтобы увидеть его рыдающим, как может рыдать только ребенок, как полагается рыдать над телом близкого человека.

Брусилов с минуту стоял изумленный, потом тоже сел, но не рядом с рыдальцем, а напротив, пряча глаза в тень от режущего их сквозь желтый абажур света.

– И вот... и вот итог... всей моей службы... на слом! – бормотал, затихая, Иванов.

– Почему «на слом», Николай Иудович? – принялся утешать его Брусилов. – Мне сказали, что вас назначили не в Государственный совет, а состоять при особе государя.

– Состоять... в качестве кого?.. Бездельника?.. Как Воейков? – опустил лобастую голову на руку, лежавшую на столе, хрипавато спрашивал Иванов.

Брусилов знал, что дворцовый комендант генерал Воейков, обыкновенно сопровождавший царя во всех его поездках, действительно бездельник, и если когда-то раньше он мог развлекать Николая анекдотами, то теперь в этом смысле окончательно выдохся и занят только рекламой какой-то, якобы целебной, минеральной воды, найденной в его имении «Кувака», почему один остроумный депутат Государственной думы назвал его «генералом-от-кувакерии». Но в то же время Брусилову был совершенно непонятен такой припадок слабости в недавнем еще руководителе нескольких сот тысяч человек на фронте, а кроме того, генерал-губернаторе двух военных округов – Киевского и Одесского, в которые входило ни мало, ни много как двенадцать губерний; поэтому он сказал:

– По-видимому, причиной перемены вашего служебного положения, Николай Иудович, послужили ваши жалобы на усталость.

– Жалобы на усталость? Только это? – возразил, подняв голову, Иванов. – А вы разве не устали почти за два года войны?.. Кому из нас не хотелось бы отдохнуть, а, скажите?.. Однако отдых – это... это только временный отпуск... а совсем не отставка!

Он достал платок, как-то очень крепко надавил им, скомканным, на один глаз и на другой, провел по щекам, полужаросшим бородою, по бороде и ждал, что скажет Брусилов, ждал с видимым интересом и даже нетерпеливо.

– Если не эти ваши жалобы причина, то я теряюсь в догадках, – сказал наконец вполне искренне Брусилов, но Иванов подхватил живо и даже зло:

– Теряетесь в догадках?.. А разгадка очень простая!.. Разгадка эта – ваше поведение, Алексей Алексеевич!

– Мое поведение? – удивился и даже слегка приподнялся на месте от удивления Брусилов. – В каком же смысле я должен это понять?.. Я против вас никому не говорил ни слова.

– Нет, именно против меня... говорили! – тихо, но упрямо сказал Иванов.

– Когда же, кому и что именно? – еще больше удивился Брусилов.

– Разве вы не говорили, что можете наступать?

– Ах, вот что-о! – протянул облегченно Брусилов и сел на диване плотно. – Да, это я говорил, потому что так именно думал. И сейчас я то же самое думаю.

– Может быть... Все возможно... Может быть, вы были уверены в своей восьмой армии. А в седьмой? А в девятой? А в одиннадцатой?.. Ведь у меня перед глазами был весь фронт, а не одна ваша армия! Весь фронт... как теперь вот он будет перед вами. Генерал Лечицкий болен крупозным воспалением легких, – едва ли выживет, – с кем же будет вести наступление его девятая армия?

– Я по приезде сюда узнал уже, что болен Лечицкий, – ответил Брусилов. – Очень огорчен этим, конечно, но думаю, что временно его мог бы заменить генерал Крымов.

– Крымов?.. Он ведь моложе по производству другого корпусного командира в той же девятой армии! – возразил с живейшим интересом к этому вопросу Иванов, так что Брусилов даже слегка улыбнулся, когда сказал на это:

– Совершенно не важно, кто из них старше, кто моложе!

Улыбка была слабая, еле заметная, но Иванов был ею уколот в больное место, и в тоне его появилась горячность, когда он заговорил, теперь уже более плавно:

– Нет, как хотите, а наступать мы все-таки не можем! Живое доказательство этому – наступление Западного фронта, которое провалилось. А кто же, как не я, предсказывал этот провал? Я говорил об этом Алексееву, я предостерегал от этого шага его величество! Однако меня не послушали, и вот – поплатились за это жестоко!.. Так что же вы, Алексей Алексеевич, хотите повторить неудачу генерала Эверта?

– Напротив, Николай Иудович, совершенно напротив. Я уверен в полной удаче! – всячески стараясь сдерживаться, не слишком тревожить так тяжело раненного отставкой и в то

же время не противоречить и себе самому, ответил Брусилов, но этой уверенностью только разбередил рану.

Трудно было и представить, конечно, чтобы так в корне не согласны между собой были два главнокомандующих – старый и новый, казалось бы, одинаково хорошо знавшие свой фронт. Но Иванов говорил, признавая только за собой знание всего фронта:

– Вы уверены в удаче, но какие же основания для этого имеете, – вот вопрос!.. Вы получаете девятую армию – и что же? Лечицкий безнадежно болен, а Крымов... ошибетесь вы в Крымове, ошибетесь, я вас предупреждаю!.. Нет у нас генералов!.. Вы получаете седьмую армию во главе с генералом Щербачевым, а что такое оказался этот Щербачев? Были и у меня на него надежды, когда он прибыл ко мне на фронт... Вот, думал я, не кто-нибудь, а сам начальник генерального штаба, и не из старых теоретиков, а из молодых, из протестантов против рутины, – заставил ведь опыт японской кампании изучать, а не поход Аннибала на Рим... Мне, участнику японской кампании, это говорило, конечно, много... Молодой еще сравнительно с другими, не ожиревший, а скорее даже к чахотке склонный, и государь к нему был так расположен, и все прочее, – а что же вышло на деле, а? Что вышло из его наступления, я вас спрашиваю?

– Вышел конфуз, разумеется, но я думаю, что он зато приобрел опыт, – спокойно сказал Брусилов, тщательно взвешивая слова. – Как теоретик, он, конечно, сильнее очень многих, но вот опыта в современном ведении боя ему не хватило. Этот пробел его теперь, я полагаю, заполнен.

Говоря это, Брусилов представлял и высокого, действительно плохо упитанного Щербачева, присланного из Петербурга командовать сразу целой армией «особого назначения», названной потом седьмой, и неудачное наступление на Буковину, которое он вел в декабре и которое обошлось почти в пятьдесят тысяч человек, но не дало никаких результатов.

– Вы полагаете, – иронически произнес Иванов. – А вот я слышал, что генерал Клембовский, ваш же теперь начальник штаба, отказался принять бывшую вашу восьмую армию. Почему это, а?

– Он говорит, что не имеет военного счастья.

– Вот видите, видите, чего не имеет? – Военного счастья!.. А почему вы уверены, что Щербачев или, скажем, Сахаров, командующий вашей одиннадцатой армией, это военное счастье имеют, хотел бы я знать?

– Да ведь в конце-то концов, имеют или не имеют они военное счастье, они будут исполнять мои приказания, Николай Иудович, я и буду нести главную ответственность за неудачу, в случае, если она нас постигнет... Наконец роль армий Юго-западного фронта будет, насколько меня известил Алексеев, только подсобная, а главные роли будут в руках Эверта и Куропаткина, – сказал Брусилов уверенным тоном, но Иванов очень живо возразил:

– О нет, нет!.. Я весьма сомневаюсь, весьма сомневаюсь!.. Эверт и Куропаткин, – они не так... самонадеянны, чтобы брать на себя главные роли!

– Если им прикажет государь, то возьмут, конечно, – примирительно, не повышая голоса, отозвался Брусилов.

Он считал жестоким спорить с разбитым нравственно стариком, который худо ли, хорошо ли все-таки двадцать месяцев без отдыха работал на фронте. Другой подобный старый генерал-от-кавалерии фон Плеве, командовавший Северо-западным фронтом, не выдержал и нескольких месяцев, заболел нервным расстройством, и были слухи, что он теперь лежит при смерти в одной из лечебниц Петрограда.

Дальше разговор велся уже более вяло – заметив, что Брусилов отвечает ему неохотно, Иванов стал делать большие паузы и вздыхать, а когда один из его адъютантов явился доложить, что в салон-вагоне рядом приготовлен ужин, поднялся с места с не меньшим облегчением, чем и Брусилов.

Свита Иванова почтительно выстроилась перед новым главнокомандующим для представления ему. Каждый в ней, от генерала до обер-офицера, был озабочен мыслью, оставит ли его Брусилов или отчислит от штаба. Чтобы никого не огорчить, Брусилов счел нужным тут же заявить, что он не намерен никого из них заменять какими бы то ни было «своими» людьми, которые были бы новыми на новом для них месте, поэтому мало пригодными для дела.

Ему не хотелось, чтобы первое знакомство со своим штабом прошло натянуто, он хотел видеть живых, непринужденно беседующих с ним помощников, но Иванов как бы оледенил всех полной молчаливостью и крайне насупленным видом.

Брусилов с трудом досидел до конца и ушел в свой поезд, поставленный рядом с поездом Иванова.

II

Обыкновенно Брусилов, втянувшийся уже за двадцать месяцев войны в боевую обстановку, и засыпал и вставал в одни и те же часы. Иначе было нельзя: сложная обстановка войны требовала от командующего армией большой мозговой работы, которую можно было вести только с ясной головой. Бывали дни, когда приходилось прочитывать тысячи телеграмм, и телеграммы эти присылались для того, чтобы дать по ним то или иное заключение. Строгий режим в распорядке суток диктовался необходимостью: ни одна минута не могла, не имела права пропасть праздну; поэтому вошло в привычку засыпать тут же, как можно было для этого лечь.

Однако здесь, на путях станции Бердичев, Брусилов долго не мог заснуть: рыдающий, как ребенок, генерал-от-артиллерии, генерал-адъютант, член Государственного совета, «состоящий при особе его императорского величества», Николай Иудович Иванов неотступно стоял перед глазами.

Как можно сурово судить человека, способного так рыдать? Этот вопрос решал и не мог решить Брусилов. Не обладает военными талантами, необходимыми для такой во всех отношениях новой войны, однако несомненно честен, если даже и заблуждается в главном, что русские не в состоянии наступать... Не изменник, как бывший военный министр Сухомлинов, не беспечен в отношении судеб своей родины и оскорблен до глубины души только тем, что отставлен, чем иной генерал в его положении был бы только обрадован, пожалуй: сам царь дает возможность умыть руки ввиду поражения России, которое, по мнению многих, было неизбежно.

И поднимался другой вопрос: «А что же я, занявший место отставленного? Не слишком ли самонадеян, что было бы непростительно в таком почтенном возрасте, как шестьдесят два года с лишним, не слишком ли мало сведущ в общем положении как фронта, так и тыла?» Ведь только теперь он должен был как следует познакомиться не только с генералами Щербачевым, Сахаровым, Лечицким, если он не умрет, но и с командирами корпусов их армий, и с состоянием их позиций, и со снабжением, как оно у них налажено, и с состоянием всех двенадцати губерний, входящих в Киевский и Одесский военные округа.

Перед войною он был знаком больше с Варшавским округом, во главе которого стоял генерал Скалон, – немец, убежденный в том, что Германия должна была командовать Россией. Будучи назначен помощником Скалона, Брусилов оказался окруженным немцами – высшими чиновниками Варшавского генерал-губернаторства. Конечно, это были все русские немцы, из прибалтийских, но тем не менее, часто переходя в разговорах между собою на немецкую речь, они создавали впечатление, будто весь этот выдавшийся на запад округ уже завоеван немцами мирным, дипломатическим путем. Впрочем, все эти Тизенгаузены, фон Минцловы, Грессеры, Утгофы, Тиздели, Эгельстрымы и прочие уверяли, что они – подлинные русские патриоты.

С легким сердцем он уехал от этих «патриотов» в Подольскую губернию, в город Винницу, когда был назначен командиром корпуса. Это было ровно за год до войны. Тогда, на маневрах, он впервые познакомился с генералом Ивановым, занимавшим в Киеве такое же положение, какое было у Скалона в Варшаве.

Даже и трех лет не прошло с того времени, – и какая разительная перемена! Кто бы мог думать тогда, что так будет рыдать теперь этот важного вида бородатый старик, руководивший маневрами в то лето?

Он же руководил и действиями восьмой армии, действиями его, Брусилова, путем телеграмм из довольно глубокого тыла, откуда было мало что видно! На фронте его не видели даже и во время длительного затишья. Распоряжения его всегда являлись или совершенно неосуществимыми, или запоздалыми, или нуждались в таких существенных поправках, которые сводили их на нет. Чаще всего приходилось командующим армиями обращаться к нему за разрешением занять такую-то позицию, туда-то передвинуть войска, и он разрешал. Но больше всего, конечно, сыпалось к нему просьб о подкреплении, и Брусилов теперь с горечью вспоминал, что именно его просьбы такого рода чаще всего оставались Ивановым без исполнения. «Ничего, – говорил он, – Брусилов как-нибудь вывернется!» Это «как-нибудь» означало, конечно, что понесет большие потери, так как восьмая армия была приучена защищать свои позиции путем наступления на позиции австро-венгров и немцев.

Так было в начале войны, когда она брала Миколаев, Галич, штурмовала Перемышль, так было потом, когда боевые действия велись в Карпатах, в особо трудных условиях. Так было и совсем недавно, зимою, когда коротким ударом по хорошо защищенным позициям немцев части его армии взяли город Чарторыйск, разбили наголову 14-ю германскую дивизию, захватили много пленных и между ними почти целый «полк кронпринца».

Это последнее дело восьмой армии, когда немцы, хотя и не так далеко и в одном только месте, были отброшены на запад, происходило тогда, когда Иванов был занят постройкой нескольких мостов через Днепр и нескольких укрепленных линий в сотни верст длиною, причем первая из них проходила в окрестностях Киева, а прочие были предназначены защищать более отдаленные подступы к нему.

На это тратились Ивановым громадные средства, и он был уверен, что обладает даром предвидения, что все затраты эти необходимы ввиду того, что весною, как немцы об этом и пишут в своих газетах, начнется «колоссальное» наступление их армий на востоке.

Раньше, когда Брусилов слышал об этом, он временами думал, что Иванову издали, может быть, виднее и общая обстановка на фронте и общая картина разрухи в тылу, а его личная самоуверенность происходит исключительно от незнания.

Теперь он видел, что на постройку мостов через Днепр и укреплений около Киева толкали бывшего главнокомандующего фронтом чересчур расстроенные нервы и рыдал он два-три часа назад только потому, что ему не удалось довести до конца того, что он задумал. Так мог бы рыдать и маленький мальчуган, которого нянька взяла под мышки и оттащила от его сооружения из сырого песка.

Однако не мог ведь сказать и он, Брусилов, что армии, стоящие на Юго-западном фронте, даже теперь, после долгого зимнего отдыха, таковы, как всем бы в России хотелось. Совсем напротив: эти армии по сравнению с теми, какие начинали войну, были очень слабы в смысле их людского состава.

Почти совершенно не оставалось уже в них ни кадровых младших офицеров, ни унтер-офицеров, ни солдат. Прибывавшие на фронт пополнения приходилось учить всему, начиная со стрельбы из винтовок. Для снабжения частей унтер-офицерами пришлось ввести во всех полках учебные команды. Наконец, очень энергично пришлось бороться и с пораженчеством, так как случалось, что во время сражения кто-нибудь из солдат начинал вдруг кричать: «Что

же это, братцы, на убой, что ли, нас сюда пригнали? Давай сдаваться!» – и целые роты, а иногда и батальоны нанизывали белые платки на свои штыки и шли в плен.

Он припомнил свой же приказ по восьмой армии в июне 15-го года, когда русские войска откатывались на восток под нажимом войск Макензена, прорвавшего жиденский фронт третьей армии на Карпатах:

«Пора остановиться и посчитаться наконец с врагом как следует, совершенно забыв жалкие слова о могуществе неприятельской артиллерии, превосходстве сил, неутомимости, непобедимости и тому подобное, а потому приказываю: для малодушных, оставляющих строй или сдающихся в плен, не должно быть пощады; по сдающимся должен быть направлен и ружейный, и пушечный, и орудийный огонь, хотя бы даже и с прекращением огня по неприятелю; на отходящих или бегущих действовать таким же способом, а при нужде не останавливаться также и перед поголовным расстрелом... Глубоко убежден, – писал он дальше в том же приказе, – что восьмая армия, в течение первых восьми месяцев войны прославившаяся несокрушимой стойкостью, не допустит померкнуть заслуженной ею столь тяжкими трудами и пролитой кровью боевой славе и приложит все усилия, чтобы побороть врага, который более нашего утомлен и ряды которого очень ослабли. Слабодушным же нет места между нами, и они должны быть истреблены!»

Восьмая армия первой на всем Юго-западном фронте остановилась тогда и остановила натиск немцев, что дало возможность оправиться и другим армиям.

Сравнение себя самого с рыдающим – потому что «оставлен при особе государя» – Ивановым заставило Брусилова вспомнить и то, как он, первый во всей вообще армии, доброжелательно отнесся к действиям у себя организаций городского и земского союза.

Он отлично знал, что эти организации едва терпит царь, делая только необходимую уступку общественности, выступившей на помощь фронту; он знал и то, как стремятся дуть в дудку царя другие командующие армиями и всячески пытаются выказывать им свое нерасположение. Он же лично исходил из того, что войну ведет не только армия, а вся Россия в целом.

Так ли думал царь, которого он должен был встречать через два дня в Каменец-Подольске, и, вообще, что он думал, – этот вопрос тоже долго не давал заснуть Брусилову, и забылся он только под утро.

III

На другой день он знакомился с делами штаба, а также и со всеми своими новыми сотрудниками – генералами и полковниками, академистами, между тем как сам он не был в Академии.

Он давно уже замечал, что академисты держались в армии как избранная, высшая каста; он знал, что и в Петрограде все успехи предводимой им восьмой армии всячески снижались и брались под подозрение только потому, что сам он не изучал так тщательно, как академисты, походов Карла V или Фридриха II. Эта подозрительность к нему отражалась и на тех, кого он представлял к наградам: они или получали их с большим опозданием или не получали совсем. Они же настраивали и царя не в пользу Брусилова, который давно бы уже мог получить главнокомандующего фронтом если не Юго-западным, то другим. Иванов относился совершенно безучастно к сдаче дел фронта, – это делали его начальник штаба генерал Клембовский, генерал-квартирмейстер штаба фронта Дидерихе и начальник снабжения – генерал Маврин. Иванов же только просил у него разрешения остаться при штабе фронта еще на несколько дней и снова при этом пролил слезу. Вид у него был поистине жалкий.

Прежде чем представлять царю девятую армию, надо было, конечно, познакомиться с нею самому, и Брусилов, приняв дела, отправился в Каменец.

Винница, в которой пришлось жить Брусилову три года назад, небольшой, но чистенький городок, очень нравилась ему смесью культурности с простотою: там были шестиэтажные дома с лифтами и рядом – одноэтажные домики, окруженные садами, – в общем же это был город-сад с тихо протекавшей жизнью. Совсем не то оказался Каменец-Подольск, красиво расположенный на берегах речки Смотрич, старинный город, бывший некогда под властью и турок и поляков.

Турки оставили тут память в виде старой крепости, называемой турецким замком и бывшей до войны тюрьмою. Часть города вблизи этого замка так и называлась Подзамчье. Поляков жило здесь и теперь много в самом городе и в пригороде, носившем название «Польские фольварки». В городе было несколько польских костелов, между ними и кафедральный. По крутым берегам Смотрича там и тут поднимались каменные лестницы, все дома в городе были каменные, все улицы были вымощены булыжным камнем, – город вполне оправдывал свое название.

У генерала Лечицкого болезнь приближалась к кризису. Брусилов тут же по приезде заехал к нему на квартиру. Дежуривший при нем врач высказал уверенность в том, что больной поправится, и это обрадовало Брусилова, так как он знал Лечицкого еще до войны с самой лучшей стороны, – таким же оставался он и во время войны.

Порядок, заведенный им в штабе, конечно, был одобрен Брусиловым. Тут все готовились к царскому смотру, о чем предупредил штаб армии Алексеев; поэтому Брусилову оставалось только навестить ближайший к Каменцу участок фронта, что он и сделал.

Придирчиво осматривал он окопы одной из дивизий армии Лечицкого, желая найти основания полной безнадежности Иванова, но, к радости своей, увидел, что и окопы эти и люди в них ничем не хуже людей и окопов его бывшей армии. Это укрепило его в мысли, что Юго-западный фронт вполне может и будет хорошо защищаться, как бы старательно ни было подготовлено весеннее наступление немцев.

Об этом ему пришлось говорить с царем, когда тот прибыл в Каменец вечером, уже затемно, и, только приняв его рапорт, обошел выставленный на станции почетный караул и пригласил нового главнокомандующего к себе в вагон.

Бывали короли и императоры, которые если даже и не имели природных внешних данных для представительства, не были «в каждом вершке» владыками государств, так хотя бы старались путем долгой тренировки привить себе кое-что показное, производящее благоприятное впечатление на массы, более или менее удачно играли роль королей, императоров.

Владыка огромнейшей империи в мире – Николай II изумлял Брусилова и раньше, но особенно изумил теперь тем, что «не имел виду».

Толстый и короткий нос – картошка; длинные рыжие брови над невыразительными свинцовыми глазками; еще более длинные и еще более рыжие толстые усы, которые он совсем по-унтерски утюжил пальцами левой руки; какая-то, неопрятного вида, клочковатая, рано начавшая седеть рыжая борода, – все это, при его низком росте и каких-то опустившихся манерах, производило тягостное впечатление.

При первом же на него взгляде он чем-то неуловимым напомнил ему Иванова, и первое, что он услышал от него, когда вошел вслед за ним в вагон, было как раз об Иванове.

– Какие-такие недоразумения произошли у вас с генералом Ивановым? – спросил Николай.

– Насколько я знаю и помню, не было никаких недоразумений, ваше величество, – удивившись, ответил Брусилов.

– Как же так не было?.. Мне доложили, что у вас было с ним какое-то столкновение, вследствие чего и получилось разногласие в распоряжениях, какие вы получили от генерала Алексеева и от графа Фредерикса... э-э... касательно смены генерала Иванова.

– Ваше величество! – с виду спокойно, но глубоко пряча раздражение от этих слов, начал Брусилов. – Я получил распоряжение только от начальника штаба ставки, но не от графа Фре-

дерикса! Никаких вообще распоряжений от графа Фредерикса я не получил и осмеливаюсь думать, что и получать не буду, поскольку дела чисто военные, дела фронта, так мне кажется, имеют прямое касательство только к ставке, а не к графу Фредериксу.

Договорив это, Брусилов почувствовал, что выразился как будто несколько не по-придворному, но он никогда и не был придворным, а вопрос царя не то чтобы объяснил ему поведение Иванова, затянувшего сдачу фронта, но, по крайней мере, навел на это объяснение. Для него несомненным стало и то, что Иванов не хотел уезжать из Бердичева, все еще надеясь остаться. Словом, оправдывались доходявшие до него стороною слухи, что его назначение нельзя еще считать окончательным.

Он видел, что его фраза о Фредериксе не понравилась царю, хотя тот и постарался скрыть это, и ждал наконец разъяснения, точно ли бесповоротно назначен он главнокомандующим, или придется ему все сдавать Иванову и возвращаться в штаб-квартиру своей восьмой армии.

Царь довольно долго был занят своими усами, внимательно приглядываясь к нему, и спросил вдруг совсем для него неожиданно:

– Что вы имеете мне доложить?

Брусилов не сразу понял, что имел в виду царь, задавая такой вопрос. О чем именно должен он был докладывать? О «недоразумении» с Ивановым было уже доложено все; что же еще могло интересовать царя?

Он медлил с ответом едва ли не больше, чем царь со своим весьма неопределенным вопросом, и решил наконец связать то, что занимало так царя, с тем, что наполняло его лично, особенно после объезда позиций девятой армии.

– Имею очень серьезный доклад, ваше величество, – начал он, – в связи с общим положением дел на Юго-западном фронте вообще, насколько я успел познакомиться с ним за последние дни.

– Хорошо, говорите, – безразличным тоном отозвался царь, вынув серебряный портсигар и вертя в художавых пальцах папиросу.

– В штабе генерал-адъютанта Иванова при приеме мною дел мне подтвердили то, что я слышал уже и раньше, – стараясь выбирать выражения, начал Брусилов, – а именно, что мой предшественник, при всех положительных качествах своих, отличался недоверием к войскам Юго-западного фронта, к их боевым возможностям, к их подготовке, а общий вывод его был таков: армии фронта наступательных действий вести не в состоянии, они могут только защищаться и то не очень стойко. Словом, на них положиться нельзя. С этим взглядом я в корне не согласен, ваше величество, о чем и считаю своим долгом вам доложить.

– Это интересно, – тем же безразличным тоном заметил царь, закурил папиросу и протянул ему свой портсигар.

– Мой предшественник, – продолжал Брусилов, взяв папиросу, но не закуривая ее, – несомненно имел большой опыт в управлении фронтом, я же имею довольно длительный боевой опыт, смею надеяться поэтому, что моя оценка боеспособности войск, мне теперь врученных волей вашего величества, окажется ближе к истине. Я до сего дня был вполне уверен в войсках только своей бывшей армии и мог с полным знанием вопроса говорить только о ней, но, приехав сюда, я успел уже несколько познакомиться с армией генерала Лечицкого, который, к сожалению, тяжело болен...

– Как его здоровье? – перебил царь.

– Есть надежды, что он поправится, ваше величество, и, может быть, даже примет участие в наступательных (Брусилов особенно подчеркнул это слово) действиях нашего фронта. По совести могу сказать, что та дивизия его, семьдесят четвертая, какую я сегодня видел на фронте, не хуже любой из моих бывших дивизий. По этой дивизии можно, мне так кажется, судить и об остальных в девятой армии. Я не успел познакомиться с седьмой и одиннадцатой

армиями, но зато я знаю командующих ими генералов Щербачева и Сахарова и думаю, что положение дел у них не хуже, чем у Лечицкого...

Брусилов понимал, что этот импровизированный доклад его в царском вагоне может иметь большое значение для того, чем он жил в последнее время, то есть для решительного выхода из пассивного ожидания удара со стороны австро-германцев к активным действиям против их, пусть и очень сильно укрепленных за долгую зиму, позиций, и старался не пропустить ни одного довода в пользу этой своей мысли.

Он говорил обстоятельно и долго. Думал ли царь о том, что он говорил, или о чем-нибудь еще, совершенно не относящемся к теме его доклада, но царь молча курил, и этого было довольно; он не перебивал, не задавал отвлекающих в сторону вопросов, он был терпелив, а это Брусилов считал хорошим знаком.

И действительно, когда доклад подошел к своему естественному концу и Брусилов заключил его словами:

– Вот, в общих чертах, то, что хотелось мне доложить о состоянии вверенного мне фронта, ваше величество, – царь, поднявшись и тем заставив подняться его, протянул ему руку и сказал по виду благожелательно:

– Хорошо, вот первого апреля на совещании в ставке вы повторите, что мне говорили сейчас, и другие главнокомандующие тоже выскажутся по этому вопросу.

В этих словах царя Брусилову почудилось, что боеспособность Юго-западного фронта все-таки берется под сомнение, что он не совсем переубедил его, напичканного мнениями Иванова, поэтому Брусилов счел нужным добавить:

– Прошу, ваше величество, предоставить мне в будущем наступлении инициативу действий, равную другим главнокомандующим, в противном случае я буду думать, что мое пребывание на посту главнокомандующего бесполезно, даже вредно, почему и буду просить вас заменить меня другим лицом.

Царь при этих словах насупил брови так, что глаз его уже не было видно, и сказал:

– Я думаю, что на совещании вы столкнетесь с другими главнокомандующими и с начальником штаба. Покойной ночи!

Брусилов вышел из вагона царя, хотя и не совсем убежденный в том, пробил ли он каменную стену его равнодушия, однако с чувством удовлетворенности от того, что ему все-таки разрешено было высказать откровенно все, что он думал. Но в следующем за царским вагоном был Фредерикс, который ждал окончания беседы Брусилова с царем, чтобы... заключить нового главнокомандующего Юго-западным фронтом в свои объятия!

Эта костлявая, старая, хитрая придворная лиса, неизвестно чем именно жившая, однако весьма живучая, захотела замести следы своей интриги, через камер-лакея пригласив Брусилова в свой вагон, едва только он покинул царя.

Длинный и узкий, с пушистыми белыми усами, Фредерикс весь так и светился радостью, оттого что видит – наконец-то! – его, Алексея Алексеевича, главнокомандующим.

– Давно пора, давно пора! – несколько раз повторил он, сияя. – И я всегда, – верьте моему слову! – всегда считал своим долгом докладывать его величеству о ваших заслугах, о том, что вы вполне достойны принять в свои руки фронт... тот или иной, тот или иной... Вот, например, Северо-западный: дважды ведь поднимался мною вопрос о вашем назначении туда, – однако... находились люди... не будем же теперь говорить о них, дорогой мой Алексей Алексеевич: все хорошо, что хорошо окончилось, – вот! Прошу вас иметь в виду, что и на этот пост, какой вы получили, выдвигалось ведь несколько кандидатов, но я-я-я... я всячески отстаивал вас!

– Благодарю вас, – отозвался на это Брусилов, чтобы сказать что-нибудь, и тут же увидел, что эти два слова ожидалось графом, чтобы перейти к самому для него важному.

– Что же касается телеграммы моей генерал-адъютанту Иванову, о чем вы извещены, конечно, – держа руку Брусилова в своей холодной руке, очень оживленно продолжал граф, –

то ведь эта телеграмма касалась совсем не того, послушайте, – совсем не его смены, а вашего назначения на его место, – вот что мне особенно хотелось вам сказать!

И он не только пожал руку Брусилова, но не выпустил ее и теперь, ожидая, как и что ему тот ответит; и Брусилов ответил так, как счел нужным:

– Поверьте, граф, мне никто ничего не говорил ни о какой вашей телеграмме Иванову!

– Не о чем, не о чем было и говорить, – подхватил Фредерикс, – совершенно не о чем! И будьте уверены на будущее время, что если вам что-нибудь понадобится передать непосредственно его величеству – я всегда к вашим услугам!

Это покорило наконец Брусилова, и он не удержался, чтобы не сказать в ответ:

– Искательством, граф, я ведь никогда не занимался, – я исполнял свой долг на всех постах раньше, буду исполнять и теперь, насколько буду в силах, но ваши слова принимаю как доброе обо мне мнение и благодарю сердечно!

Фредерикс обнял его снова, и, расцеловавшись, они расстались, по виду очень довольные друг другом.

На следующий день с утра начался смотр войск одновременно и царем и самим Брусиловым, и если царь обращал внимание только на выправку солдат, на их умение ходить церемониальным маршем, то в глазах Брусилова эти новые для него войска – сначала 3-я Заамурская пехотная дивизия, потом 9-й армейский корпус – держали строгий экзамен на право вести наступление через месяц и выдержали его с честью.

Царь вел себя на смотре, как обычно: тупо смотрел на ряды солдат, державших винтовки «на кра-ул», запаздывая поздороваться с ними; тупо смотрел, как они шагали, выворачивая в его сторону глаза и лица, – и только. Ни с малейшим задушевным словом он не обращался к тем, которые должны были проливать кровь и класть свои головы за него прежде, чем за родину: не было у него за душою подобных слов.

На Каменец-Подольск довольно часто налетали неприятельские самолеты, так как был он недалеко от фронта. В городе мало было целых стекол в домах и часто попадались развалины и кучи мусора на месте бывших построек. Конечно, воздушные разведчики дали знать на ближайший аэродром противника о скоплении большой массы русских войск, выстроенных для смотра, и над 9-м корпусом закружилось до двух десятков аэропланов.

Впрочем, этого уже ждали и приготовили для встречи их свои самолеты, а также зенитные батареи, так что перед смотром корпуса произошло небольшое сражение: разрывались высоко в воздухе снаряды, летели вниз дистанционные трубки, осколки, шрапнельные стаканы, – наконец поднялись свои машины, и налетчики ушли ни с чем, хотя и без потерь в своем строю.

Разумеется, на Брусилова ложилась обязанность предупредить царя об опасности не только смотра, но и вообще пребывания его в Каменце: всегда можно было ожидать налета врагов даже и на царский поезд, который не так трудно было рассмотреть среди кирпично-красных и отдаленно поставленных обычных прифронтовых поездов.

Но царь ни одним словом не отозвался на эту о нем заботу и не уехал из Каменца, пока не закончил того, зачем приехал, – то есть смотра всех расположенных тут в окрестности частей войск.

Сам склонный к мистике, Брусилов приписал было такое равнодушие царя к опасности фатализму, но, приглядываясь в тот день к своему верховному вождю пристальнее, решил наконец, что это только равнодушие к жизни.

Глава третья

Новый полк

I

Поезд с одним классным вагоном, в котором вместе с другими офицерами ехал на фронт прапорщик Ливенцев, не подходил к тому участку фронта, какой ему был нужен: от станции, где он вышел вместе с Обидиным, оставалось до расположения их полка, по словам знающих людей, не менее пятидесяти верст.

Эти пятьдесят верст предоставлялось осилить или на грузовой машине, если бы такая попала, или на крестьянской подводе, или, наконец, пешком. Комендант станции, какой-то зеленолицый, явно больной подпоручик, говорил это без улыбки, как привычное, повторяемое им ежедневно.

– А шоссе тут как, очень грязное? – спросил Ливенцев.

– Ну еще бы вы захотели, чтоб не было грязное в марте! – почти рассерженно ответил подпоручик и добавил еще злее: – Да оно тут идет недалеко, а там дальше проселок, – колеса засасывает! – повернулся и отошел, а Ливенцев сказал Обидину:

– Для начала недурно, как говорится в каком-то анекдоте. Такая же грязь, конечно, будет и на фронте, и это совсем не анекдот.

Станция между тем оказалась хоть и небольшая, а бойкая: так как здесь осели склады, питающие порядочный участок фронта, здесь шла выгрузка из вагонов и продовольствия и боевых припасов, а также нагрузка их на машины и подводы – интендантские, пехотных полков, артиллерийских парков и другие.

Около станции у ее заднего двора была ожесточенная крикливая толчея, в которой с первого взгляда совершенно невозможно было разобраться. Однако разбирались солдаты в заляпанных по уши сапогах и мокрых и грязных шинелях, только Ливенцев, сколько ни спрашивал здесь, нет ли машины или подвод от его полка, ничего не добился.

Кучка баб, притащивших к поезду откуда-то поблизости молоко в бутылках и сморщенные соленые огурцы в мисках, уже все распродала, когда к ней подошли Ливенцев с Обидиным в поисках попутной подводы.

Подвод у баб не водилось, – они даже как будто обиделись, что их заподозрили в такой роскоши. Одна из них, очень деbeatая, добротная, оказалась почему-то русская среди украинок и говорила врасяжку на орловско-курском, родном Ливенцеву наречии. Она сосредоточенно жевала соленый, мягкий с виду, огурец, отламывая к нему хлеба от паляницы.

– Скоро новые огурцы уж сажать будете, – сказал, глядя на нее, Ливенцев.

– А чего их сажать! – отозвалась баба, грустно жуя.

– Как чего? Чтоб посолить на зиму, – объяснил бабе Ливенцев, но та сказала на это весьма неопределенно:

– Только и звания, что цвет дают, а посмотреть плети – плоховязы, и пчел поблизу не держат.

– Капусту посадите, – вспомнил и другую огородину Ливенцев, но баба с грустным лицом флегматично сказала:

– Капуста, она когда ще голову начнет завивать? До того время спалишь дров беремья.

– Вы у ней поняли что-нибудь? – спросил, отходя, Ливенцев у Обидина.

Обидин подумал и ответил:

– Черт их поймет, этих баб! Они и капусту готовы тащить в парикмахерскую.

Неудача с машинами и подводами его раздражала, – это видел Ливенцев – и, чтобы успокоить его, он заметил, улыбаясь:

– Погодите, доберемся когда-нибудь до своего полка, и вот там-то вы уж действительно ничего не поймете!

Они пробыли на этой станции целые сутки, ночевали в совершенно грязном «зале 3-го класса», с неотмывно заслеженным полом, и спали, сидя рядом на своих чемоданах и прикурнув один к другому.

Только на другой день в обед как-то посчастливилось им натолкнуться на расхлябанный грузовик их полка, прибывший за «битым» мясом. На этом грузовике они и устроились, не без того, конечно, чтобы не дать за это на чай шоферу и артельщикам, хотя те и были солдаты.

– Вот видите, – говорил Обидину Ливенцев. – Вам может показаться непонятным и то, что мясо называется «битым». По-вашему, пожалуй, этого добавлять не надо: мясо – и все. Однако каждая воинская часть заинтересована бывает в том, чтобы мясо ей доставлялось «живое», то есть просто убойный скот. На этом могут быть «безгрешные» доходы, а на «битом» мясе что выгадаешь? Ничего, если только не прогадаешь.

Казалось бы, пятьдесят верст можно было проехать засветло, но грузовик был старый, очень раздерганный, дорога тяжелая, – часто на ней застревали и тратили много усилий, чтобы как-нибудь сдвинуться с места.

Десятки раз проклинал Обидин и грузовик, и дорогу, и мясные туши, которые не были привязаны и все время стремились, как он говорил, бежать в поле пастись, но Ливенцев успокаивал его или, по крайней мере, пытался успокоить тем, что это – совершенно райский способ передвижения в непосредственной близости к фронту.

Когда сначала не очень разборчиво, а чем дальше, все внятнее стал доноситься разговор орудий, Обидин насторожился и спросил:

– Это что же такое? Значит, мы прямо с приезда – в бой?

Ливенцев ответил тоном бывалого вояки:

– Ну, какой же это бой! Это только: милые бранятся, – просто тешатся. Это вы ежедневно в те или иные часы будете теперь слышать – весна. Это вроде глухариного токованья.

– Вы сказали «весна», – вскинулся Обидин. – Может быть, это оно и начинается, о чем говорят и пишут, – весеннее наступление немцев?

– Не думаю. Сейчас еще грязно. Куда же наступать немцам по таким дорогам? Дайте хоть земле подсохнуть, а то орудий не вытащишь.

Один из солдат-артельщиков слушал прапорщиков, переглядывался с другим артельщиком, наконец спросил Ливенцева:

– Неужто, ваше благородие, немец скоро пойдет на нас, как в прошлом году? А у нас болтают обратно, будто мы на него пойдем.

– Как все эти туши съедим, то непременно пойдем, – отшутился Ливенцев, но Обидину подмигнул, добавив: – Вот видите, какие на фронте слухи ходят? Так и знайте на будущее время: панику любят разводить в тылу, а на фронте люди сидят себе – не унывают. Просто некогда этим тут заниматься.

II

Уже смерклось, когда наконец дотащился грузовик до деревни Дидичи, где был штаб полка. Однако вместо штаба полка попали оба прапорщика тут же, с приезда, в блиндаж командира третьего батальона. Это вышло не совсем обычно даже для Ливенцева.

– Что, мясо привезли? – спросил артельщиков около остановившейся машины какой-то казак в щегольской черкеске, и артельщики почтительно взяли под козырек, и один из них, старший, ответил:

– Так точно, мясо... а вот также их благородий к нам в полк.

– К нам в полк? Вот как! Это, значит, ко мне в батальон, – у меня недокомплект офицеров, – обрадованно сказал казак, повернувшись лицом к Ливенцеву, причем тот, несмотря на сумерки, не мог не заметить, что белое круглое лицо казака совершенно лишено растительности, так что он даже подумал: «Только что побрился и даже усы сбрил». Кроме того, Ливенцев не понял, почему командир батальона в пехотном полку оказался казак, но тот не дал ему времени на размышление: он просто подал руку ему и Обидину и добавил к такому, отнюдь не начальническому жесту:

– Эта балочка не простреливается противником, – здесь можно ходить во весь рост. Пойдемте в блиндаж, поговорим там за чашкой чая.

Гостеприимство пришлось как нельзя более кстати после нескольких часов тряской и грязной дороги, а блиндаж оказался не очень далеко, так что казак не успел разговориться; он только заботливо предупреждал, голосом басовито-рассыпчатым, где тут грязь по щиколотку, а где по колено.

Блиндаж, в который спустились прапорщики, был на редкость благоустроенным, что очень удивило Ливенцева, помнившего зимние блиндажи и окопы возле селения Коссув. Главное – в него натащили каких-то драпировок, ковров, которые при свете вполне приличной лампы, стоявшей на столе, покрытом чистой скатертью, заставляли даже и забывать, что это – всего только боевой блиндаж. И пахло в этом убежище, предохраняющем от свинца и стали, духами больше, чем табаком.

Командира батальона, – обыкновенного пехотного, в достаточной степени старого, потому что взятого из отставки, – увидел Ливенцев здесь, в блиндаже, и тут же представился ему, по неписанным правилам стукнув при этом каблуком о каблук; то же сделал и Обидин.

Однако казак сказал тоном, не допускающим возражений, обращаясь к подполковнику:

– Я думаю, одного из них, который постарше, – в девятую роту, другого – в двенадцатую. Завтра же могут от заурядов принять и роты.

– Да, разумеется, что ж... раз оба прапорщики, то, конечно... имеют преимущество по службе, – пробормотал подполковник, улыбаясь не то радостно, не то сконфуженно, и добавил вдруг совершенно неожиданно и несколько отвернувшись: – Я никакой глупости не говорю.

Только после этой неожиданной фразы он выпрямился и назвал свой чин и фамилию:

– Командир батальона, подполковник Капитанов! – Потом он сделал жест в сторону казака, сказал торжественно: – Моя жена! – и снова сконфузился. – Впрочем, вы ведь уже успели с ней познакомиться, – я это упустил из виду.

Только теперь понял безусость казака Ливенцев и то, почему здесь драпри и ковры и пахнет духами, но когда он поглядел на жену батальонного, то встретил суровый, по-настоящему начальнический взгляд, обращенный, однако, не к нему, а к батальонному. Так только дрессировщик львов глядит на своего обучаемого зверя, которому вздумалось вдруг, хотя бы и на два-три момента, выйти из повиновения и гривастой головой тряхнуть с оттенком упрямства.

Голова подполковника Капитанова, впрочем, меньше всего напоминала львиную: она была гола и глянцевиата, что, при небольших ее размерах, создавало впечатление какой-то ее беспомощности. Да и весь с головы до ног подполковник был хилловат, – вот-вот закашляется затычным заливистым кашлем, так что и не дождешься, когда он кончит, – сбежишь.

В блиндаже было тепло – топилась железная печка. Подполковница сняла папаху и черкеску, – бешмет ее тоже оказался щегольским, а русые волосы подстрижены в кружок, как это принято у донских казаков.

Чайник с водою был уже поставлен на печку до ее прихода и теперь кипел, стуча крышкой. Денщик батальонного подрос как раз вовремя спуститься в блиндаж, чтобы расставить на столе стаканы и уйти, повесив перед тем на вешалку снятые с прапорщиков шинели,

леденцы к чаю и даже печенье достала откуда-то сама подполковница, и тогда началась за столом первая в этом участке для Ливенцева и первая вообще для Обидина беседа на фронте.

– Вы, значит, в штабе полка уже были, и это там вас направили в наш батальон? – спросил Капитанов, переводя тусклые глаза в дряблых мешках с Ливенцева на Обидина и обратно.

– Нет, мы только что с машины, – с говяжьей машины, – попали к вам... благодаря вот вашей супруге, – сказал Ливенцев.

– Так это вы как же так, позвольте! – всполошился Капитанов. – Может быть, вы оба совсем и не в наш батальон, а в четвертый!.. Ведь теперь, знаете что? Теперь ведь четвертые батальоны в полках устраивают и даже... даже еще две роты по пятьсот человек в каждой должны явиться, – это особо, это для укомплектований на случай потерь больших. А ведь в эти роты тоже должны потребоваться офицеры.

– Ну что же, – я прапорщиков оставлю в своем батальоне, а заурядов пусть берут в четвертый или куда там хотят, – решительно сказала дама в казачьем бешмете.

Теперь при свете лампы, которая, кстати, была без колпака, Ливенцев присмотрелся к ней внимательней и нашел, что она не очень молода, – лет тридцати пяти, – и не то чтобы красива: круглое лицо ее было одутловато, а серые глаза едва ли когда-нибудь и в девичестве знали, что такое женская ласковость, мягкость, нежность. Будь она актрисой даже и попадись ей роль, в которой хотя бы на пять минут нужно было бы ей к кому-нибудь приласкаться, она бы ее непременно провалила, – так думал Ливенцев и отказывался понять, какими чарами приворожила она Капитанова в свое время. Впрочем, он охотно допускал, что между ними обошлось без чар.

– Вы сказали нам поразительную новость, господин полковник, – удивленно отозвался между тем на слова Капитанова Обидин.

– Да, да-а! Теперь та-ак! – очень живо подхватил Капитанов, видимо, довольный, что замечание жены можно обойти стороной. – Теперь дивизия пехотная будет считаться в двадцать две тысячи человек – вот какая! Почти в два раза больше, чем прежняя была, трехбатальонная.

– Это что же, в видах наступления, что ли? – спросил Ливенцев. – Конечно, на нас ли будут наступать австрийцы, мы ли начнем наступать на них, мы должны быть прочнее.

– Затеи Брусилова! – презрительно бросила подполковница, разливая чай по стаканам в серебряных подстаканниках.

– Что именно «затеи Брусилова»? – не понял ее Обидин.

– Все эти четвертые батальоны и какие-то роты там пополнения! – небрежно объяснила она. – Было желание выслужиться, ну, вот и добился своего – теперь главнокомандующим.

– Вам, значит, он не нравится? – догадался Ливенцев.

– А кому же он нравится? – быстро и даже сердито спросила она, так что Ливенцев счел за благо, принимая от нее стакан, сказать не то, что он думал:

– Приходилось иногда слышать в дороге, что, может быть, он будет лучше Иванова.

– А чем же был плох Иванов, – что эти болваны вам говорили? – совсем уже грозно посмотрела на него она.

Хлебнув было прямо из стакана и чуть не обварив язык, Ливенцев не сразу ответил:

– Все обвинения их сводились только к тому, что Иванов будто бы предлагал стоять на месте.

– А как же иначе? Наступать, как тут под шумок готовится сделать Брусилов? Мы наступать не можем! – решительно заявила подполковница и посмотрела при этом на своего мужа откровенно-яростно, точно он тоже был сторонником наступления, чего и предположить по всему его виду было никак нельзя.

Ливенцев понял подполковницу, как хозяйственную женщину, устроившую себе тут, на Волыни, в деревне Дидичи, вполне сносный «домашний очаг», а к таким «очагам» женщины

привыкают, как кошки, и поди-ка попробуй выкинь ее из привычного уклада жизни в рискованное неведомое, – глаза выдерет.

Так думая, Ливенцев заговорил, однако, о другом:

– Что вы – героическая женщина, это для меня несомненно. Женщины в тылу обыкновенно держатся назубок заученного ими правила: наплюй на все и береги свое здоровье. А вы вот – на фронте, куда вам не так легко и просто было попасть, я полагаю. Каждый день вы под обстрелом, и если бы к вам отнесли, как к царю, который пробыл два часа на линии фронта и получил за это от генерала Иванова георгиевский крест, то и вам могли бы дать, в пример другим, хотя бы медаль на георгиевской ленте.

– Ей и должны будут дать, должны, непременно! – поспешно и тараща глаза из прихотливых складок коричневых мешков, постарался поддержать его Капитанов.

Однако подполковница в бешмете презрительно фыркнула на мужа:

– Ме-даль! Поду-маешь!

Ливенцев увидел, что он дал промах: она, не желавшая наступать, считала несомненным, что ее объемистый бюст будет украшен белым крестом, а не какой-то тривиальной медалью. Но он промолчал, а батальонный совершенно излишне, теребя вышитую салфетку и глядя при этом куда-то под стол, бормотнул:

– Что ж, я ведь никакой глупости не говорю...

Очевидно, у него уже была неискоренимая привычка говорить так в присутствии жены.

– Неприятельские окопы далеко ли отсюда? – спросил Ливенцев, чтобы затушевать неловкость.

– От наших окопов только пятьсот шагов, – ответила на это подполковница вполне деловому, как на вполне деловой вопрос.

– Пять-сот ша-гов? – удивился Обидин и даже на Ливенцева посмотрел, – не шутка ли это.

Ливенцев сказал спокойно:

– Расстояние приличное. Давно уж оно не нарушалось?

Вместо прямого ответа на вопрос, обращенный к лысому Капитанову, ответ получился косвенный от его супруги:

– В том-то и дело, что против нас сидят не такие уж отпетые дураки! Они нас не очень беспокоят, и мы их тоже.

– Значит, полная взаимность. Но перестрелка все-таки ежедневная? – спросил Ливенцев теперь уже подполковницу, и та ответила, наливая ему новый стакан чаю:

– Разумеется, а как же иначе!

Тут же после чаю она распорядилась, чтобы денщик – по фамилии Коханчик, белобрысый, молодой еще малый торопливых движений, развел новых ротных командиров по их ротам.

– Как же все-таки без разрешения командира полка... – попробовал было заикнуться батальонный, но она так крикнула на него: «Не твое дело!», что он тут же умолк.

Зато чуть только из уютного блиндажа Ливенцев вышел в ночь и грязь, он сказал Обидину:

– Конечно, мы сейчас должны идти к командиру полка.

– Как сейчас? Ночью? – возразил Обидин.

– Ночью только и ходить в таких гиблых местах.

– А почему же не в свои роты?

– В какие «свои»? От кого вы их получили?

И Коханчику, который остановился в нескольких шагах от блиндажа, Ливенцев приказал:

– Веди-ка нас, братец, к командиру полка.

Однако он тут же увидел, что не на того напал. Коханчик, еле различимый в темноте, отозвался на это твердо:

– Велено развести господ офицеров по ротам: кого в девятую, так это сюдою иттить, а кого в двенадцатую – тудюю.

И он махнул руками в одну сторону и в другую, находясь в понятном затруднении, с которой именно начать.

– Ни «тудюю», ни «сюдою» нам не надо, братец, – досадливо сказал Ливенцев. – Веди в блиндаж командира полка, – вот тебе одно направление.

Но Коханчика переубедить оказалось трудно: прапорщики услышали из темноты:

– Цего я не могу, ваше благородие, бо я обязан сполнять приказание командира батальона.

Ливенцева не столько обидело это, сколько развеселило.

– А кто же у тебя командир батальона? – спросил он не без лукавства и услышал вполне обстоятельный ответ:

– Хотя же, конечно, считается так, что их высокоблагородие подполковник Капитанов, ну, однако, распоряжения идут от их высокоблагородия барыни.

Ливенцев рассмеялся и отпустил Коханчика.

Можно было вполне обойтись и без него: по ходам сообщения двигались в ту и в другую сторону солдаты, и всем им было известно, где находится штаб полка.

III

По дороге к блиндажу полкового командира Ливенцев узнал, что фамилия его Кюн.

– Как Кюн? Немец, значит?

Это было очень неприятно Ливенцеву, но спокойным голосом солдат-вожатый ответил:

– Точно так, похоже, что они из немцев.

– Может быть, латыш, а не немец, – вздумалось поправить этот ответ Обидину.

Ливенцев вздохнул и буркнул:

– Будем надеяться, что латыш.

Полковник Кюн был еще далеко не стар, – едва ли набралось бы ему пятьдесят лет; вид к концу дня имел не усталый, напротив – будто только что выспался; в светловолосом ежике на вытянутой голове седины совсем не было; человек рослый, молодцеватой выправки, он принял двух новых офицеров, явившихся в его полк, до такой степени наигранно любезно, что у Ливенцева в первую же минуту никаких сомнений не осталось – немец.

– А я вас поджидал, как же, – улыбаясь, радостно, как старший приятель, а совсем не новый начальник, говорил Кюн, когда оба они назвали свои фамилии. – Разумеется, бумаги о назначении приходят все-таки раньше, чем сами назначенные могут добраться, хе-хе! Транспорт, – вот где наша Ахиллесова пята!

– У нас много слабых мест и кроме транспорта, – попробовал вставить Ливенцев.

– О да, о да, разумеется, много! – весь сморщился и даже глаза закрыл Кюн, но ревниво за ним наблюдавший Ливенцев не нашел никакой горечи в этой мимике.

В петлице теплой тужурки Кюна небрежно торчал Владимир с мечами, – тот самый орден, о представлении к которому Ливенцева писали однажды приказ, но не послали.

– Ну что, как там в тылу, откуда вы приехали? – спросил Кюн с явным любопытством.

– В каком именно смысле, господин полковник? – не понял вопроса Ливенцев.

– Ну, разумеется, – настроения в обществе касательно войны в дальнейшем, и тому подобное! – с игривой улыбочкой уточнил Кюн. – «До победного конца» – как Меншиков в «Новом времени» пишет?

– Есть и такие мнения, – тут же, как подстегнутый, немножко резко по тону, ответил Ливенцев.

Обидин же добавил:

– Но больше все-таки противоположных, что воевать мы едва ли в состоянии.

– Поэтому? – оживленно повернул голову от Ливенцева к Обидину Кюн.

– Выводы из этого положения всякий делает по-своему, – уклонился от прямого ответа Обидин, а Ливенцев вставил свой вывод:

– Все-таки все сходятся на одном: разговаривать о мире с немцами сейчас могут только одни мерзавцы!

– Хо-хо-хо! – добродушно с виду рассмеялся Кюн. – Это хорошо сказано!.. Ну что же, господа прапорщики, ведь вам с приезда надо бы хоть чаю напиться... Позвольте-ка, как бы это вам устроить?

– Мы уже пили чай, господин полковник, – сказал Ливенцев, – у командира третьего батальона.

– У Капитановых? Вот как?.. Как же вы к ним попали? Ори-ги-наль-ная пара, не правда ли? – с таким видом, точно приготовился рассмеяться, зачастил вопросами Кюн и брови поднял; но Ливенцев был вполне серьезен, когда говорил в ответ на это:

– Конечно, в третьем батальоне у вас, господин полковник, тоже может быть недокомплект офицеров, но мы очень просили бы нас назначить в какой-нибудь другой батальон.

– Как так? Они же вас, оказывается, чаем напоили, и вы же против них что-то возымили?

Кюн протянул это без видимой задней мысли, только с любопытством насчет того, какое же именно недоразумение могло произойти так вот сразу между новоприбывшими прапорщиками и четой Капитановых.

– За чай мы им, конечно, очень благодарны, но служить нам хотелось бы все-таки в другом батальоне... просто потому, что одно дело приватный чай и совсем другое – служба на фронте, – сказал Ливенцев все, что хотел, надеясь избежать этим излишних вопросов.

И Кюн оказался понятлив.

– Да ведь у нас офицеров только подавай, – помилуйте! – заторопился он. – Оба вы, как прапорщики, прошедшие школу...

– Я, господин полковник, из старинных прапорщиков запаса и школу проходил только на Галицийском фронте, – перебил Ливенцев.

– Тем лучше, тем еще лучше! – продолжал Кюн. – Поэтому оба вы и получите у меня роты, но-о... в новом моем батальоне, в четвертом, а не в третьем.

– Очень хорошо, – сказал на это Ливенцев.

Обидин же отозвался застенчиво:

– Не знаю, господин полковник, справлюсь ли я?.. Мне бы лучше сначала полуротным.

– Ну-ну, полуротным! Вас полуротным, а зауряда ротным? – удивился Кюн и добавил: – И разве вы не знаете разницы между окладами ротного и полуротного?.. Ничего, подучитесь... Вот ваш старший товарищ вам поможет, – кивнул он на Ливенцева, но тут же добавил: – Вы-то командовали, надеюсь, ротой?

– Так точно, господин полковник, – постарался ответить вполне официально Ливенцев.

В это время отворилась входная дверь в блиндаж, и снаружи ворвался сюда орудийный очень гулкий выстрел, а за ним с небольшими промежутками еще два, и Кюн, к удивлению Ливенцева, вдруг вскочил с изменившимся лицом, точно орудийные выстрелы на позициях были для него новостью.

– Что такое? Что такое, я вас спрашиваю?! – накинулся Кюн на вошедшего с кучей бумаг офицера, точно он был причиной пальбы.

– Постреляют, перестанут, – спокойно сказал офицер с бумагами, здороваясь с прапорщиками. Сам он тоже оказался прапорщиком, годами несколько постарше Ливенцева, который безошибочно угадал в нем адъютанта полка. Фамилия у него была простая – Антонов – и лицо простоватое, бесхитростное и несколько дней на вид небритое, должно быть по недостатку времени.

Кюн вышел в другое отделение блиндажа, к связистам, справляться, кто и во что стреляет, Антонов же успел за это время и узнать, что вот прибыли в полк те, кого поджидали, и шепнуть, что командир полка имеет особенность: не выносит пушечной пальбы.

– Вы шутите? Как так не выносит? – спросил Ливенцев.

– Не могу вам объяснить, как так это у него происходит, а шутить не шучу: я уж около него три месяца, и каждый раз, чуть только пальба, – такая история.

– Почему же он на фронте? – удивился Ливенцев.

– Потому что полковник имеет сильную протекцию, метит в генералы и здесь проходит стаж.

Ливенцев успел только многозначительно переглянуться с Обидиным, когда вернулся Кюн, да и поднятая было стрельба из орудий прекратилась так же внезапно, как поднялась.

– Это дурак Поднимов из аэропланного взвода! – обратился он к Антонову. – Ему захотелось показать, что он, как это называется, стоит на страже! Будто бы летели два неприятельских аэроплана, а он приказал по ним стрелять и отогнал... вот подите с такими! Почему он знал, что это неприятельские, а не наши? Да и летели ли они, или у него в ушах звон? Тоже – показывает старание не по разуму!

Ливенцев наблюдал этого нового своего командира с большим любопытством, стремясь догадаться, в какой именно отрасли военного дела проявлял себя такой любитель тишины, готовый отменить всякую вообще стрельбу на фронте, как совершенно излишнюю.

Блиндаж командирский был не только обшит кругом досками, но еще и оклеен обоями. Фигурные бронзовые часы старинной работы стояли на столе. Пол был дощатый, и соломенный мат для вытирания ног лежал у двери. Блиндаж хорошо проветривался, так что не чувствовалось сырости в нем, несмотря на сырую весеннюю погоду. Потолок из толстых бревен был тоже облицован досками и оклеен белой бумагой. Вообще за зимние месяцы тут было сделано все, что можно, чтобы доставить командиру полка возможные удобства.

Это заставило Ливенцева подумать, что будет за блиндаж у него, командира роты, которой ведь не было на позиции до последнего времени, и чем его можно если не украсить, то хоть несколько привести в удобный для жизни вид. Об этом он и спросил Кюна, взявшего уже в руки бумаги, принесенные Антоновым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.